

Инна Лесовая

НАБРОСОК МЯГКИМ ГРИФЕЛЕМ

Грузовик мелькнул несколько раз, далеко, между домами. Потом исчез – и внезапно вырулил из-за угла на дорожку, затормозил – будто споткнулся, грохнув напоследок бараклом, и замер прямо перед третьим парадным. Мальчишки, человек шесть, или восемь, поднялись на кузове, заторчали, темные, на фоне пустого неба. Начали спрыгивать нерешительно через борт.

Район и вправду был противный. Тупые, длинные пятиэтажки, редко натканные без ладу по плоской беспризорной земле... проволочные саженцы без всяких надежд на листья... Несимпатичны были старухи, восседающие на лавке в не по сезону теплых пальто. Их головы задвигались в глубинах зимних платков, как потревоженные птицы в дуплах.

– О, о! – зашелестело. – В восемьдесят вторую вселяются.

Еще неприятнее были молоденькие деревенские девахи. Они побросали свои коляски, неразвешенные пеленки и потянулись к грузовику с общим выражением недоброжелательного любопытства на лицах. Спешили показать, кто здесь хозяин. Чьи это мужья сколотили лавку, кто насеял чернобривцы и нацепил веревки для белья. Они были уверены, что новые жильцы не тянули бы полгода со вселением, если бы им пришлось ради этой квартиры поработать на стройке и три раза рожать.

Действительно, вселение протекало без всяких признаков радости. Да и кто, собственно, вселялся? Был некий толстый, суетливый, с ключами в кулаке. Были мальчишки, сновавшие по его команде. Неумелые. Все у них гремело и разлеталось. Какая-то бандура, сбита из досок (не стол, не табуретка – тумба, вроде тех, на какие ставят пальмы в кинотеатрах), грохнулась углом на землю. И один, на вид постарше и потолковее других, закричал: "Не смейте бросать подиумы! Сломаете!" И еще кричал: "Николай Иванович! Большой подиум полкомнаты занял! Куда другие ставить?" "Сверху! – орал суетливый. – Сваливайте все в гору, потом разберете!"

Однако никаких пальм видно не было. Впрочем, когда стащили вниз трухлявую ширмочку, дело как будто прояснилось. Над заляпанной доской показалась гипсовая лысина Ленина. И зрители подобрали: поняли, что жильцов не будет, а будет какой-нибудь красный уголок, что подтверждало бьющееся на ветру полотнище казенного красного сатина. Предположили даже – не детская ли комната при милиции, и, окончательно потеплев, обратились к толстому, к начальнику: объяснили, что замок барахлит потому, что в нем много раз ковырялись самоселы. Но тут рухнула заляпанная фанерка, и оказалось, что никакой там не Ленин, а насупленный старик с тупым круглым носом, окладистой курчавой бородой на голой груди, с двух сторон подпертый черными валенками нечеловеческого размера. "А Бо-о..." – растерянно выдохнула одна из зрительниц. Из хлама виднелось еще несколько гипсовых голов. Страшнее всех выглядела криво торчащая на кубе голова без кожи, с раскрытым беззубым ртом, полным пыли. Старухи отшатнулись, когда ее пронесли мимо. Следом за широкими плечами потащили в дом лысого еврея с тонким хрящеватым носом и желтым пятном на лбу. А за ним – провисающую в простыне почти до земли метровую голову молодого мужчины с шаром вьющихся волос и острой раздвоенной бородкой. Он пялился в небо нехорошим взглядом. Старухи, привстав, смотрели ему вслед.

После него уже ничему не удивлялись: ни матрацу, рулетом скрученному вместе с постелью, ни "солдатской" кровати, каких уже и в больницах не оставалось – тем более вполне приличному кухонному шкафчику и холодильнику.

Остальное все, мелочь и дребедень, тоже требовало рук. Судя по тому, как начальник

дергал свой рукав, чтобы взглянуть на часы, куда-то они не поспевали. А тут еще шофер демонстративно расселся и курил. Двое мальчишек бегали от третьего, который пытался отнять у них зеленую конторскую тетрадь. Мальчишки метнулись за угол; он подался было за ними, но увидев что-то вдали, остановился и зло, неумело сплюнул. Начальник тоже перестал суетиться. К дому мягко подкатила "скорая помощь", объехала грузовик, развернулась и остановилась. Стояла она непонятно долго, пока, наконец, не распахнулась левая дверца. Затем – правая. Те, что приехали на грузовике, сунулись в обе дверцы и стали что-то обсуждать с медиками. Затем все вместе отправились открывать заднюю дверь. Оттуда, из низкого грота, осторожно выдвинули носилки с телом, покрытым простыней. Прибитая ветром, она позволяла разглядеть сложенные на груди руки и вытянутое лицо с высоким лбом и заострившимся носом... Казалось, к парадному понесли последнюю из статуй...

Старухи закрестились вслед.

– В больнице скончался... – вздохнула одна.

Все кивнули. Завздохали, не зная, как продолжать разговор. А из дома, из раскрытой глубины его, донесся истошный женский вопль: "Уби-и-ли!!" И непонятно было, когда это в дом попала женщина. Потом снова стало тихо. Надолго. Пока не послышался с лестницы обрывок разговора: "...Неужели нельзя было оставить в покое такого больного человека! Дали бы ему там дожить!" – "Вам легко говорить! А у меня – учебное заведение! Очаг культуры! А он двери чесноком мазал! бельё в окне сушил! И вообще... Но последний случай – это уже переполнило чашу! Мне давно говорили, что он в окно помой выливает!"

Мальчишки позапрыгивали в кузов – и обе машины укатили.

Ну что за судьба такая! Что бы ни случилось с человеком, для окружающих – спектакль. Не жизнь, а сплошной повод для анекдотов, слухов и недоразумений. Но мы – не старухи, застрявшие на своей лавке. Нам незачем гадать, когда похороны и кто остался с покойным – не та ли невидимая женщина, что кричала "убили"...

Кричал сам Борис Борисыч, когда врач "скорой помощи" попытался стащить с его лица простыню. Не хотел он открывать свое лицо – и все тут. Даже когда замректора по хозяйности убрался вместе со своим козлом.

Оставшийся с ним Коля (тот, что не смог отнять у двух шалопаев зеленую тетрадь) несколько раз робко просил его сдвинуть простыню: "Задохнетесь ведь! Плохо станет!" В ответ на что Б.Б. издавал едва уловимый невнятный звук: не то "о-о", не то "и-и"... Коля тихо двигался по квартире, хлопотал, не вполне уверенный, что учитель одобрит его действия. На всякий случай он сообщал вслух о каждом мероприятии. "Я холодильник включил. Сложил туда продукты". Или: "Тут, оказывается, шкаф стенной есть. В коридорчике, за дверью. Я уже всю одежду повесил. Так что гвозди в стенку забивать не придется". И, наконец, решившись, добавил осторожно: "Тут неплохо".

Потом Коля, как мог, подправил под Б.Б. постель, развернул перед кроватью ширмочку, а к изголовью приставил табуретку. Получился укромный уголок, совсем такой же, как на старом месте, в институте. Коля хотел еще поставить у изголовья настольную лампу, но вытащить ее из свалки не удалось: за что-то она зацепилась, и когда Коля чуть сильнее потянул за шнур – дрогнула табуретка, одной ногой висящая над бездной, пошатнулись гипсовые кубы и конусы, наваленные на нее, а под самым потолком качнулся венчающий пирамиду Сократ. Коля понял, что сам он такую гору не разберет. Правда, из другой, пониже, удалось без особых катаклизмов высвободить чайник, кастрюлю и несколько тарелок.

Окрыленный, Коля пошарил палкой под нижним подиумом. К самому краю легко

подкатились синий термос и жестяная банка с красной этикеткой "Меланж". Банку он оттолкнул, а с термосом долго возился. Коля держал его в руке, но вызволить не мог: не пускали поперечные планки.

Коля был зол. Ну к чему они устроили такую беготню, спешку! Уж лучше оставили бы вещи на улице, а он бы их перетаскал потихоньку!

– Я завтра тут окончательно разберусь, – прогудел виноватым подростковым баском Коля. – Мне одному не справиться. Кого-нибудь попрошу...

Б.Б. не ответил, но шевельнулся.

– Мне идти надо, – продолжал Коля. – Поздно. А я дома не предупредил. Вы бы встали, попили чаю. Я вскипятил. Тут газ. Плитку теперь чинить незачем. Вставайте, Борис Борисович! Вот и валеночки ваши.

– Небось каштаны все рассыпались по дороге! – раздался приглушенный простыней голос.

– Ничего подобного! – оживился Коля. – Я сам проследил! На окне коробка стоит. И вот! – Он тряхнул валенками (там заманчиво грохнуло) и придвинул их вплотную к кровати.

Простыня снова шевельнулась, смялась, сморщилась и сползла с потного, красного лица, вытянутого в трагическом оцепенении. Свесилась и зашарила под кроватью голая рука.

– Ну вот! Видите! Совсем задохнулись. Давление, наверно, поднялось! – огорчился Коля.

– Банка где? – перебил бесстрастно Б.Б. – Меланж. Красный!

– А зачем она? – простодушно удивился Коля. – Здесь туалет.

– При чем тут это! При чем тут это?! – ожил от досады Б.Б. и, наконец, сел. – Я туда бумажки бросаю, тюбики пустые!

Желтые ножки привычно опустили в необъятные фетровые трубы, умащиваясь, поерзали, погромыхали сухими каштанами... Б.Б. встал... качнулся – и снова сел, прижимая одну руку к сердцу, другую – к покрывшемуся испариной лбу.

– Погубили Борисборисыча-а! – заскулил он уже известным нам женским голосом и добавил вполне мужским, хрипловатым: – Избавились, завистники!

Наконец все-таки встал, вышел за ширму и с похмельной ненавистью оглядел свое новое жилище.

– Конура собачья!

– Так ведь вещи еще не разобраны! Люций Вер среди комнаты стоит! – заспешил Коля. – Я завтра все сделаю, свободнее станет! И потом тут еще кухня! Ванная, коридор! Даже, можно считать, два! Жалко, что мне идти надо!

– Иди! – кивнул, не оборачиваясь, Б.Б. – Семейно не беспокой! А я...

– Вы, если что, к соседям постучите! Тут дверь совсем рядом! – крикнул Коля уже с лестничной клетки.

На площадке первого этажа он задержался: что-то белело под батареей. Несколько листков, исписанных мелким почерком. Коля поднял их и прочел: "...Несомненно, что в 19-ом веке главным центром искусства стала Россия..."

Коля свернул листки в трубочку и вышел на холодный майский ветерок. У парадного темными группками роились люди. Коля задрал повыше плечи, зябнувшие в тесном пиджачке, выдвинул вперед голову с нелепой шевелюрой, делающей его насуспенный профиль похожим на профиль ежика, и прошмыгнул мимо, стараясь никого не задеть. Толковали о каких-то венках и о том, что никто не станет собирать деньги для незнакомых людей. С какой стати...

Ехать пришлось долго. Со скуки Коля развернул листки.

"...баю! Отец помочь старается старому другу, а дочка строит козни! Убить ее – и то

мало!

4 октября.

Опять приходила Феня. Ноги круглые, руки круглые! "Борис Борисыч, я вам горяченькой картошки принесла!" Куда денешься! Села среди комнаты нарочно на солнце. Голые колени повыставляла. Такой яркий свет, что все контуры размывает. А шея – в тени. Между грудьми темно, а на лице – блики от пола. Ел невнимательно, жевал как попало – вот и результат. Ну, пронира! Думает, я не понимаю, зачем ходит. "Борис Борисович! Иванову с Машей дали двухкомнатную на Репина. Жалко, что вы не женаты. Еще заселят в общую квартиру..." Намекает: вот, дескать, Иванов – профессор, а женился на своей домработнице. Так чего бы тебе, Борис Борисыч, на мне не жениться? Как же, женюсь я на ней, на деревенской! Чтобы А.Г. всем говорила: "Я так рада за Борю! Феня за ним присмотрит! Феня устроит его быт! Они люди одного круга". Вот тебе фигу – одного круга! Знаю я этих деревенских! Распишешься с ней – а она тебя доведет до инсульта при помощи половых отношений. А потом и сдаст в дом инвалидов. Дудки! Пусть А.Г. свой быт устраивает! А то в восемь часов уже слышно, как она по лестнице: тук-тук-тук-тук! И плащ белый нацепила – молодую из себя строит! Вот пусть сама выходит – за Митьку за вахтера. Нечего обо мне заботиться, подсылать ко мне своих учеников. У меня свои есть. Мне свои хлеба принесут. И в баню сводят. Если понадобится. Мне Непийвода два литра меда привез из Полтавы. И евреечка эта рябая – носит и носит, семью обижает. Все хорошее, диетическое. Творог... Говорю: не надо! Не слушает. И эта еще, черненькая, с губами. Говоришь ей: "Нельзя столько острого! Видишь, какая у меня аллергия?!" А она говорит: "Это от хлорки. У вас хлоркой сильно пахнет. У меня, вот, тоже диатез". И показывает свою шею. Белая, как атлас, и чуть-чуть пушистенькая! Вот дура! В комнате больше никого нет, а я мужчина. Сердце расходилось – бах! бах! Ударил ее два раза по плечу. Полотенцем.

20 ч. 50 м. А если она пожалуется родителям – скажу, что работать не хотела и грубила. Снова сверлит в большом пальце правой ноги, и хочется что-то раздавить, раздавить! Принял двадцать капель валокордина. Заварил чабрец.

6 октября.

Появилась боль между первым и вторым ребром, спереди, на уровне нижней части желудка.

11 ч. 10 м. Боль не отпускает. Что это? Поджелудочная железа? Но почему тогда так близко под кожей? Болит буквально между кожей и ребрами.

13 ч. 00 м. Нарыв? Осмотрел внимательно кожу, прощупал. Никаких следов. Нет ни покраснения, ни уплотнений. Это вызывает особые опасения. Главное – боль не сильная. Даже, можно сказать, приятная. Что-то напоминает... Детство... На душе так нежно, так жалко чего-то. Поплакал.

17 ч. 10 м. А если это поджелудочная выбилась из-за ребер под кожу? Носят и носят! И все острое, жареное!

10 октября.

Снова плохой день! Вдоль копчика ходят вредные токи: вверх – вниз! Вниз больше – и хочется упасть на пол.

Туфли А.Г. узнаю на расстоянии. Даже ходит не как все! Выделяется! Приходит первая, уходит последняя. Цокает каблуками, как молоденькая, а сверху посмотришь – седая старуха. И на макушке иногда розовая голова просвечивается. Ха-ха! Так ей и надо, старой деве! Пусть! пусть совсем облысеет, а я буду сверху смотреть! Студентов ее погоню! Думают, я не знаю, кто их послал! Хватит! Уже позаботилась!

Как это я забыл принять воду с медом натошак! Сразу чувствуется. И цвет лица не тот! И нет чистоты в организме. Не хочется ничего. А все Феня! Отвлекла! Только успел снизу вернуться – она уже тут как тут! "У меня водичка мыльная осталась – давайте пол протру". А сама шурует туда-сюда, рубаху новую показывает. Так бы и пнул ногой! Вижу ее насквозь! "Мы, Борис Борисович, через неделю выселяемся! Хозяйка рада, а хозяину жалко. Он тут уже привык. А Иванов завтра переезжает!"

Иванов, Иванов! Вот пусть Иванов и женится на домработницах! Он все картины двумя красками пишет: краплак да ультрамарин. Пусть ему Маша их в ведре разводит! А Борис Борисыч – колорист! Вот дождусь весны – всем им покажу! Уж на этот раз никто мне не помешает! Завистники! Чего только ни придумывают – лишь бы не дать мне осуществить заветную цель всей жизни! То собрание комсомольское, то ремонт капитальный, то на свадьбу пригласят. А это ж всего четыре дня! Ждешь целый год – и вот они пролетели, и зелень уже не та: грубая, непрозрачная. Такую пускай Кононенко пишет!

Несомненно, что в 19-ом веке главным центром искусства стала Россия, ибо в то время, когда русское искусство достигло наивысшей своей высоты, западное искусство сошло на нет, потому что там художники начали выдрючиваться, отступать от природы. А это – только начни, только один раз соври – и скатишься в бездну формализма! Опять..."

Где-то на середине дороги Коля задремал и, несомненно, проехал бы свою остановку, если бы мужчина, сидящий у окна, не попросил его убрать с прохода ноги.

Б.Б. в это время, торопясь и опасливо оглядываясь, вытаскивал из-за горы бумаг древнюю слежавшуюся папку, обернутую в две коричневые от старости газеты и обвязанную почтовым шпагатом. Тщательно осмотрев папку, он с облегчением убедился, что упаковка не потревожена, и тут же засунул ее глубоко в угол, под кровать. Сверху и вокруг нее навалил без разбора старые журналы "Юный художник", стопки студенческих рисунков и акварелей, которые брал на кафедре для хозяйственных нужд. Присев, он обнаружил, что перестарался: матрац под ним выпирал двумя твердыми верблюжьими горбами. Он снова полез под кровать, выбросил оттуда лишнее и снова сел, тяжело, но удовлетворенно дыша. Затем нагнулся, поднял первый попавшийся лист – поясной портрет мужчины, грубо написанный акварелью. Б.Б. помнил этого натурщика. Почему-то называли его "полковником", и проработал он в институте недолго. Может, оттого акварель и не была доведена до конца. Какие-то длинные мазки... красные, оранжевые... "Откуда тут могло взяться красное?! И такое позволяют себе в институте! – сказал вслух Б.Б. с ядовитой укоризной. – Да нам бы в училище за такое Армяков-Козловский..."

Б.Б. покрутил портрет так и этак и прикинул, что его еще можно было бы вытянуть, если бы для начала смыть всю эту непрозрачную гущу... Затем он сложил лист пополам и аккуратно – даром что без ножниц! – выдрал полуэллипс, после чего развернул лист и,

довольный конфигурацией отверстия, направился в туалет.

Лампочка, единственная в квартире, оказалась несуразно яркой для такого места, и что-то в ней сразу зажужжало, будто заработал маленький счетчик. Однако Б.Б. не поспешил ее выключить. Наконец он увидел в своем новом жилище преимущество. Одно – но неоспоримое. Газ, которым пытался соблазнить его Коля, в счет не шел. От него в воздух попадали опасные для легких выделения. Да и просочиться он мог... Настоящая бомба в доме... Но собственная раковина! Ванна! А главное – унитаз, в котором не кишит, не урчит неотмываемая дизентерия, "боткина" и сифилис – неизбежный при нынешних студенческих нравах... А запах их курева, который не выветривался даже за ночь! А два пролета скользкой мраморной лестницы! Причем – в крошечной темноте! поскольку ходил он туда только после вечерней уборки, и то не сразу, а когда просохнет! И все равно задыхался от брезгливости, хотя всегда пользовался "гигиеническим сидением" – вроде этого "полковника". Теперь у него появился свой, собственный унитаз – и со всеми этими "полковниками" было покончено.

Б.Б. яростно скомкал продырявленный листок и бросил его в угол, но, подумав, поднял и мстительно изорвал в куски. Ярость эта относилась к давней неприятной истории – настолько неприятной, что Б.Б. старался ее не вспоминать. Тем более, что о ней никто не знал, в отличие от последней истории – с банкой, которая и погубила Б.Б., поскольку... Ну да ладно.

Эта банка, уже упоминавшаяся, подло поблескивала жестью из-под подиума, и красная этикетка "Меланж" была хорошо видна, хотя комната, после яркого электрического света, показалась Б.Б. совсем темной. Впрочем, верхнюю половину девятиэтажного дома, на который выходили окна Б.Б., ярко освещало заходящее солнце, и это наполняло его новое жилище нежным и таинственным сиянием, странно выявляющим форму каждого предмета. Каждый прыщик на штукатурке имел свою тень. Люций Вер на тяжелой казенной табуретке застыл посреди комнаты, будто озаренный внезапной мыслью, что лично ему, Люцию Веру, несчастье, постигшее Б.Б., только на пользу. С тупым злорадством следил он за черным валенком Б.Б., пинающим злополучный "Меланж", который снова и снова выкатывался и упирался в планку. Б.Б. смотрел на упрямую шею Люция, на шар кудрявых волос, на узкую бородку, раскаляясь от тайного раздражения. Так раздражать может наглый и корыстный бездельник-сын.

Б.Б. презирал Люция. Он считал, что рисунок надо делать в натуральную величину, а Люций не умещался даже на ватманском листе. На экзаменах его никогда не ставили. Взял он эту метровую махину потому, что сама шла в руки: пьяный Рябокоть плохо связал формы, так что левую половину головы чуть-чуть выперло, а справа на шее получилась глубокая вмятина. Б.Б. провозился три дня, пока заделал дыры и зачесал выступы. Пригрел пса беспородного, который теперь в благодарность тарашился на эту банку и паскудно ухмылялся.

– И кому он нужен? – обратился к другим головам Б.Б. – С этими кудрями! На каждую кудрю – неделя работы требуется! Правда, сейчас, оно, конечно... все дозволяется... Педагог на экзамене говорит: "Прорисуйте хорошо одну деталь"! Каково! Нос, значит, будет готовый, а череп тремя линиями намеченный...

Тупорылый Сократ смотрел, насупись, поверх головы Б.Б. Будто оглох. Или не желал обсуждать начальство. Такое его поведение Б.Б. обижало, хотя Сократа он в общем-то уважал. В отличие от "Экорше"*. Эта запрокинутая голова, разинутый рот... Будто ему хуже, чем всем! От таких в доме чуть что – только крик и паника.

* *ecorce* (фр.) – с содранной кожей, обнаженный; имеется в виду голова учебной статуи

Гудона.

Что касается Никколо да Удзано, то и он был себе на уме, но Б.Б. предпочитал его всем прочим. Никколо, по крайней мере, всегда хотел знать, что и как.

– Плохо! Плохо, – кивнул ему Б.Б. – Так я и не написал свою главную картину! Отлучили! Тридцать лет подступался! Лелеял мечту... Подстерегли! Коварно выбрали момент!

Б.Б. с отчаянием отыскал глазами чистый холст, придавленный к стене, и тоненько взвыл: как раз наступал этот час... когда молодая зелень на холмах внезапно темнеет, а затем как бы вовсе исчезает. Открываются клубящиеся весенним трепетом пространства, где только солнце золотистой пылью обрисовывает наступающие друг на друга профили невидимых крон.

Б.Б. подошел к окну и передернулся – так неожиданно бесприютен был открывшийся ему пейзаж. Темнеющие дома показались ползущими по земле уродами... Гигантское желто-серое небо... Его можно бы хорошо написать, но спрашивается: зачем такой ужас?! такая безвыходная пустота с этим стальным осколком тучи, свалившимся наискось неизвестно откуда...

Далеко за домами мелькал испуганный желто-синий троллейбус... как мячик, закатившийся из старого города, куда так рвалась вернуться усталая душа Б.Б. Так рвалась, что он готов был выбить лбом стекло, взмахнуть руками и улететь в это желтое небо... Но вспомнил вдруг, что она-то, Душа его, способна лететь, куда хочет, без всякой для себя опасности, и незачем ее томить в этой комнате, еще более нежилой, чем плоская земля под окном... И он решился, не откладывая, пустить ее вслед за троллейбусом, чтобы понежилась в тепле и уюте узких улиц, между ветвями старых каштанов, робко разгибающих детские липкие пальчики. Скорее! На мягкие холмы, посыпанные бисерной майской зеленью, не скрывающей диковинные жесты деревьев... Почему-то Б.Б. полагал, что оттуда дольше видно заходящее солнце.

Б.Б. просчитался. И вдобавок – завозился. Промаявшаяся весь день под простыней, Душа вспотела, смялась. Пока Б.Б. встряхнул ее, пока пригладил перышки, пока смахнул с них налипшие крошки (Душа у Б.Б. вылетала через небольшую дырку в левом нагрудном кармане), пока... Ну, а потом – непривычная к дальним полетам, она отстала от троллейбуса где-то в районе Брест-Литовского проспекта, заметалась и, напуганная, вернулась домой. Однако Б.Б. не сдался: он примерился поточнее и послал ее не за троллейбусом, в обход, а наискосок от шоссе. Тут она очень быстро и без особых сложностей добралась до улицы Артема, осмелела, оказавшись в знакомых местах, и вовремя свернула в нужный переулок. Обогнула дом с колоннами, где прожила без малого тридцать лет... Но солнца уже не было, и она зависла в нерешительности, озабоченно помахивая крылышками.

Откровенно говоря, в отличие от Б.Б., она не любила этот дом. Днем, пока Б.Б. занимался с учениками, порхала над верхушками холмов, озорничала, сбивая пыльцу с цветов или утренний иней... а то просто повисала без чувств, без мыслей на солнце. Особенно осенью... Ложилась на летучую паутину и ждала, куда отнесет ее бабье лето. Но далеко не летала: пуглива она была, боялась дождя, сумерек. Тогда уж приходилось возвращаться в дом. За ширму, под одеяло. Если, конечно, Б.Б. не затевал какое-нибудь важное дело. Он любил, чтобы Душа участвовала в его мероприятиях. Строили новые натюрморты. Разводили хлорку. Хлоркой протирали полы, смачивали тряпку под дверь и бинты, которыми обматывались дверные ручки. Душе запах хлорки не нравился, но куда было деваться!

С наступлением холодов прибавлялась еще одна напасть. На город накатывали одна за другой волны гриппа, и приходилось вдобавок натирать дверь чесноком. Особенно

тщательно – вокруг щелей, в которые проходил зараженный микробами воздух. Душа всегда боялась, что из-за этого чеснока у Б.Б. будут неприятности. Ну, на шею навесил, в карманы наложил – и хватит! Тем более, что простуженные ученики к занятиям не допускались, о чем категорически извещала записка на двери. Впрочем... Что правда – то правда: такой чих, такой кашель разносился по коридорам! Усиленный, умноженный лестничным эхом.

Эхо! Вот что она ненавидела в этом закрученном, как раковина, здании! Никогда здесь не было тихо! Что-то гудело, наступало зловещими наплывами, скрипело, похлопывало, вскрикивало где-то в глубине: "А-а! а-а! а-а-а..." Хотя известно было, что в здании никого нет, даже вахтер вышел за папиросами. Боялась, боялась Душа этого здания! Даже тогда, когда весь их этаж был заселен педагогами и в каждой аудитории жила семья. А то и две! Да еще с домработницами! Когда по мраморным лестницам носились друг за другом дети, высекая своими сандалетами искры, съезжали по перилам, и попки их в почерневших за день трусах неслись на встречного из темноты, как немой кошмар. "А-а-а! А!" И Душа бросалась, трепеща, к жуткому провалу, откуда, как со дна колодца, шло сияние, отраженное красным ковром парадного вестибюля. Вечернюю тьму коридора рассекали вертикальные трещинки света, из которых несло жареным мясом, картошкой, подгоревшим молоком... "Да ничего страшного! Разбила коленку... Заходите к нам, Борис, попьем чаю, индийский фильм по телевизору..." А там – там еще страшнее! Еще одино... Лучше к себе, в хлорку! в чеснок! под одеяло!

И всю ночь – "А-а-а..."

Чего уж там! Она знала, что погубила Б.Б. И так он выйти лишний раз боялся из-за этих гриппов-сифилисов, а она добавляла! Боялась этого туалета, как... Вдруг А.Г. увидит, что Б.Б. туда вошел! Вдруг он там столкнется с кем-нибудь из студентов – неэтично! И ночью не лучше. Все какой-то убийца мерещился в угловой кабинке. Душа обмирала, трепыхалась... Б.Б., бедный, не знал покоя, даже когда запирался на задвижку. Так нервничал, так дергался, что подложил однажды рисунок на сидение краской кверху. А это, вдобавок, оказалась какая-то непонятная гадость... вроде бы темперу с касторкой мешали или с каким-то лаком... Короче – вода это не брала. Жуткие красно-сине-серые разводы! Они только ездили вверх-вниз под намыленной рукой по бледной коже Б.Б., которая в нелепо ярком свете умывальной комнаты казалась ослепительно-белой! И он стоял, несчастный, перед гигантским зеркалом, ногтями правой руки судорожно сцарапывал эту краску, а левой поддерживал спущенные брюки, готовый тотчас же натянуть их, если в коридоре послышатся шаги. И все это здание, полное сквозняков, злорадно поскрипывало и пощелкивало десятками дверей, так что Душа билась в истерике об оконные стекла и об это самое зеркало – и несомненно разбилась бы, если бы была, к примеру, голубем.

Вам смешно... А попробовали бы сами так постоять! Подниматься по темной лестнице в холодных, прилипающих к телу мокрых брюках! "А-а-а..." И вы бы прикусывали расплывающиеся губы! И вы бы заплакали о пропавшей даром жизни! и тоже – вслух!

Нет. Не любила Душа этот дом. Даже комнату, которую сама же и выбрала, когда Б.Б. только что поступил в институт. Конечно, тогда было другое дело! В комнате стояло пять кроватей. Да и не столько комната ей понравилась, сколько Юра и Микола Ткач, которые туда уже заселились. А потом... Да нет! Она еще до истории с Миколой чувствовала, что застоялось в этой комнате по углам что-то давнее, нехорошее. Но и другие комнаты были не лучше. И потом, после окончания института... разве приходилось выбирать?! Это же была такая редкостная удача: сразу получить свой собственный угол! И вдобавок с таким пейзажем за окном! Душа была уверена, что теперь-то Б.Б. его, наконец, напишет.

Ждала, ждала... А у него все какие-то общественные дела... Потом этот "Берия", а за ним – "Каганович"... Что-то в их лицах настораживало Душу... делало воздух в комнате гнетущим... Тогда она и завела привычку торчать неподалеку в оврагах, на холмах. Все соблазняла Б.Б.: смотри, вот оно, вот! Холмы весной дышат! Деревья наступают друг на друга прозрачными слоями, как кружева! Не откладывай! А он и после "Кагановича" все не мог собраться. Пошли ученики... Хлорка... чеснок... Люций Вер... скисшие натюрморты... Что может быть скучнее светлой комнаты, где пятеро детей без всякой охоты рисуют гипс! По десять раз перерисовывают "вступительную" композицию, а потом еще перекалывают ее иголкой на чистый лист. Душа всегда побаивалась, что однажды экзаменаторы обнаружат эту уловку, и тогда не избежать Б.Б. большого скандала. Но переубедить его не удалось – только портила ему настроение.

Короче – не стала она залетать к себе в комнатку, попрощалась с улицы. Удивилась, как это за день окно стало таким же неживым и пугающим, как и все остальные, брошенные хозяевами полгода назад – и полетела прочь, лишь бегло глянув в освещенное нутро вестибюля, где дежурный пил чай над черным телефоном, а красный ковер за его спиной отползал наверх по лестнице, в темноту.

Да. И хорошо она сделала, что не вошла, а то бы расстроилась еще больше. Там на двери, рядом с запиской "Новый адрес Б.Б. Локтева..." висел клочок бумаги с карикатурой: Б.Б. в черных трусах и с крылышками за спиной сидит на окне, свесив ножки. Принимает солнечную ванну. Глаза у него закатились от блаженства. Особенно удалось сложное движение его бровей: левая вместе с параллельными ей морщинами надвинута на глаз в мучительном недоумении, правая – в недоумении счастливом – взмывает вверх. Смешнее же всего было то, что это выражение в точности повторяли складки кожи между животом и безволосой грудью.

Вообще-то к карикатурам на Б.Б. ей было не привыкать. Больше всего возбуждали студенческое остроумие его валенки. То он выглядывал из пробитого в голенище окошка. То восседал на одном из них в позе роденовского "Мыслителя" со сливным бачком за спиной. То летел как в ступе, повязанный бабьей косынкой, с помелом в руках. Или...

Да... Но ведь то всё Души не касалось, а это она восприняла бы как прямой намек, укор именно ей. Недосмотрела... Вдруг потеплело, разом, резко – и она размякла, утратила бдительность! То всегда всего боялась, надоедала Б.Б. своими предчувствиями... А тут – расселась с ним на окне, разомлела! Не подумала, что солнечная ванна Б.Б. сорвет урок по всей школе. Даже когда дети высунулись из окон – не смутилась, не запретила Б.Б. махать им рукой и подмигивать.

Что-то странное сотворила с ней эта весна! Видно, судьба была уйти с обжитого места, оборвать с кровью корни... Конечно! А как иначе объяснить ее последний промах? Он-то и оказался роковым. А вовсе не солнечные ванны. Поздно вечером... вдруг... распелась! Захотелось ей, чтобы распахнул Б.Б. окно! Вдохнул синий упоительный воздух, запахи цветения! услышал, как... Вот и схитрила, стала запугивать! На лестнице, мол, мокро, в умывальнике сквозняки, воспаление легких, двусторонний отит... Слышишь, двери стучат... Слышишь – "А-а-а..." Ну, он и решился, распахнул окно. Да так и замер! Вся ночь двинулась ему навстречу, как прекрасная женщина, и он стоял, счастливо обмерев, минут пятнадцать! пока вспомнил, зачем, собственно, открыл окно, и полез за банкой. Хорошая, кстати, банка, плотно закрывалась... И как плеснет – широко, вдохновенно, чтоб подальше... А Душа и не вспомнила, что скоро неделя, как кусты под окном вырубил, заасфальтировали дорожку и наставили лавок. И тут же визг! Уже через минуту в дверь стучали... Б.Б., одетый, дрожал под

одеялом, делал вид, что его разбудили, а там, в коридоре, кричали: "Мы видели, из какого окна!"

Возвращаясь к новому пристанищу, Душа пообещала себе, что не станет больше навещать прежние места, беречь себя воспоминаниями.

Между тем Б.Б. не сидел сложа руки. Он заметил, что Сократ развернут и освещен замечательно удачно, и решил, не откладывая, пристроить ему драпировку. Б.Б. вылез на табуретку и ловко задвинул за голову Сократу дощечку с красным сатином. Остаток ткани путем хитрых манипуляций вывел вперед и уложил благородными складками, отчасти прикрывшими свалку под подиумом. Он представил себе, как изумится Коля, обнаружив такие перемены, и воодушевился настолько, что едва не сверзился назад затылком. Хорошо, что под рукой оказалась труба отопления. Не дождавшись, пока утихнет сердцебиение, он взялся за благоустройство Никколо. Часть зеленой драпировки из-под Никколо он изящно отвел вбок на табуретку – ту, что с висячей ногой, и построил на ней натюрморт. Чуть выше, между двумя подиумами, он проложил мостиком доску, накиннул на нее попавшуюся под руку пижамную куртку и, придирчиво шурясь, расставил гипсовую дребедень с Экорше в центре. Новое положение вещей создавало замечательное преимущество: в любое место свалки можно было воткнуть фанерку, так что получалась устойчивая полочка, годная для постройки натюрморта. Он тут же и устроил их штук восемь из всего, что удалось собрать под ногами и в холодильнике.

Коля действительно охнул, когда явился утром. Он еще на лестнице понял, что Б.Б. обживает: в парадном сильно пахло хлоркой и явственно отдавало чесноком. Дверная ручка квартиры Б.Б. была тщательно обмотана влажным бинтом. Половину коридорчика занимала мокрая клетчатая тряпка. Обреченно вытирая о нее ноги, Коля был уже готов к чему угодно. Но, увидев "Пергамский алтарь", созданный за ночь Б.Б., просто потерял дар речи. Учитель весь светился от ликования и потирал руки.

– Вы что же, головы сами таскали?! – ожил наконец Коля.

– С ума сошел! Инфаркта мне не хватало! Мозгами надо шевелить, мозгами! Ну что, здорово?

– Здорово, – промямлил Коля. – Только там же вещи остались, за подиумом и внизу. Все разбирать придется.

– Да ты что! – вскрикнул Б.Б. и покраснел всем лицом. – Такую красоту?! Обойдусь без того барахла. Что там осталось?

– Ну... Кастрюлю вон вижу, ящик... Краски, наверно... Грелка... Чемоданчик коричневый...

– Грелку достань.

Коля присел на корточки и стал протискиваться плечом за подиум. "Мостик" под Экорше дрогнул.

– Оставь! – испугался Б.Б. – Пусть так и будет! Ну ее. Она все равно пластырем заклеена. Буду бутылками пользоваться. В Англии все пользуются бутылками. А тут, Коля, холод и сырость хуже, чем в Англии, солнца никогда не будет. Борис Борисыч теперь – дитя подземелья.

Он побрел на кухню. Тошно завоняло валерианой, заболталась в стакане ложечка.

– Там мама вам пирог передала! – крикнул Коля. – В кульке лежит.

Б.Б. помычал. Вернулся в комнату, показал пальцем на закрытый рот. Коля кивнул понимающе.

– А у вас в доме, видно, похороны, – сказал он. – Я шел – там люди стояли... разговоры

похоронные.

Б.Б. поморщился. Не любил он похорон. Особенно не любил марш Шопена. Всегда вздрагивал, когда доносилось откуда-то это медное, долбящее землю "бу, бу, бу-бу..." А как трубы взвоят, запрокинувшись к небу, совсем жуть брала. Он даже затыкал уши. Несносная музыка! Вот уже, кажется, кончилось, удаляются, уходят – и вдруг нате вам! начинают заново, будто разворачиваются всем оркестром назад.

Б.Б. не досчитал до шестидесяти секунд и проглотил свою болтушку, только бы Коля не стал развивать ненавистную тему.

– Давай Люция Вера задвинем вон туда, в угол. Как раз закроет весь беспорядок, – предложил он бодрым голосом. – Ты толкай табуретку, а я буду страховать. – И он обнял императора повыше ушей.

– Двигают! – сказала старуха, живущая под Б.Б., и мотнула головой на свой потолок. Соседки, собравшиеся под ее окном, оживились.

– Я ж говорила! – затараторила одна. – Гроб еще рано утром завезли. Я угол видела, когда заносили.

– А ночью топали, топали. До трех часов, наверно.

– Хоть бы сегодня увезли! – стала жаловаться молодая, толстая. – Собака всю ночь выла. Нет сил!

– И наша выла. Чуют...

Тут что-то сильно грохнуло в глубине дома. Послышался далекий женский визг. И снова грохот. И снова визг, но теперь уже ясный, проявившийся, как переводная картинка, и всем знакомый – визг дворничихи Паши: "Лю-у-ди! На по-о-мощь! Убива-а-ют!!!" И, судя по запинкам и перепадам этого голоса, а также топанию и шарканью на лестничной клетке, Паша не преувеличивала.

Толпа неуверенно качнулась, но скорее в сторону от парадного. Предполагали, что оттуда должны вырваться растрепанная дворничиха и ее матом ревуший супруг, а ему, пьяному, не дай бог попасться на дороге. Опыт уже имелся. Но произошло нечто не положенное по сценарию. Гневный мужской голос перебил Пашкин визг: "Не смей бить женщину, мерзавец!" А затем новый грохот и короткий вскрик: "Уби-и-ли!" Такой же точно, как накануне, когда вносили труп. Тут соседи ринулись-таки на лестницу. На пяти этажах захлопали двери, замелькали в лестничном пролете головы – и все увидели вчерашнего покойника. Его незабываемый запрокинутый профиль, четкий нос, высокий лоб... Теперь уже без простыни. Он лежал как бы сломанный пополам в поясице: худые ноги в пижамных штанах раскинулись поперек лестницы, одна – босая, желтенькая, другая – в огромном черном валенке, который короткими, но неумолимыми толчками сползал вниз. Другой валенок валялся у порога распахнутой настезь квартиры, в глубине которой виднелось жуткое сооружение: все эти вчерашние головы, выставленные наподобие хора. И казалось, что это именно от них так страшно разит хлоркой... И еще казалось, что все они как-то разом подались к двери, пытаясь понять, что случилось с их хозяином.

Хозяин лежал в уже описанной позе. Испуганные соседи изучали его бледное, с белыми губами лицо... необыкновенно тщательно выбритое... густые светло-русые волосы, как-то трогательно откинувшиеся вверх и набок и постепенно намокающие бурой кровью из лужи, которая все разрасталась на кафельном полу, тихо отходя под широченный вельветовый пиджак... коричневый, накиннутый прямо на голое тело, точнее – на сиреневую майку, так что целиком была видна красивая стройная шея с дикарским ожерельем из зубцов чеснока. И как непонятная подробность кошмарного сна – сухие каштаны на полу, на лестнице... катятся,

покачиваются, спрыгивают со ступеньки на ступеньку...

Теперь кричал мальчишка – раздражающим подростковым баском:

– "Скорую"! "Скорую" быстрее! – И еще: – Это я! это я виноват! Я должен был его удержать!

Так что Паша охотно поверила в его вину и на него же напустилась:

– Чего вы сюда выскочили? Кто его звал! в семейные дела мешаться!

А милицию, которая подросла раньше "скорой", она уверяла, развозя ладонью кровавые усы, что муж ее и пальцем не тронул, что это она свалилась со стула, когда снимала белье, что во всем виноват покойник: подвернулся подбородком под локоть, а у нее, у Паши, трое детей, и без мужа их не поднять.

Повторимся: что за несчастная судьба у человека! Какая бы беда с ним ни приключилась, для всех вокруг – потеха и цирк. Нет-нет! Успокойтесь: на этот раз Шопен не настиг Б.Б. Однако неизвестно откуда прокатился по институту слух, будто бы Локтев умер. В который уж раз! И все, как обычно, поверили, засуетились... Бросились расспрашивать Колю, как только он показался на пороге школы. И хотя Коля, излагая суть происшествия, сильно сгущал краски, все тут же развеселились, и пошла по школе, по институту история о драке. Очередной анекдот. А что смешного в том, что муж дворничихи, отталкивая Б.Б., попал ему локтем в кадык, отчего Б.Б. задохнулся и потерял сознание? И крови он потерял много, хоть и натекла она из пустяковой ранки: грохнувшись в обморок, Б.Б. угодил затылком на кусочек гравия. Или для того, чтобы кто-нибудь отнесся к Б.Б. всерьез, ему следовало умереть?

Взять хоть больницу – уже к вечеру там ходили легенды, оскорблявшие Колю. Больные собирались под дверью палаты Б.Б., откуда доносился бабий вой: "Зачем! Зачем я вмешался! Теперь он ждет меня в парадном, чтобы добить! А если его посадят – она сживет меня со свету! Мне нельзя! мне нельзя возвращаться!" Коля считал, что Б.Б. абсолютно прав, и собирался поговорить об этом в институте, хотя и сам не знал, на что надеяться. Разумеется, никто и не подумал выслушать Колю. Зато тут же неизвестный автор набросал картинку, изображающую Б.Б. в виде Георгия Победоносца с копьем и, конечно, в валенках. Особенно хорошо получились поверженный пьяница – "змий", и дворничиха – "царевна". Коля с неоправданной злостью изорвал этот рисунок. Возможно, ему от природы не доставало чувства юмора, а может, возмутила быстрота этой метаморфозы: только что – испуг, сочувствие, готовность помочь – и вот уже карикатуры, вот уже Мишка Зайцев вытащил похищенный при переезде растрепанный дневник, забрался на подиум и читает его вслух, кривляясь, подвывая и копируя манеру речи Бориса Борисыча...

"28 сентября, 20 ч. 35 м.

В теменную кость с левой стороны как будто засаживают кусок раскаленной жести, согнутой в гармошку, каждые тридцать-шестьдесят секунд. Проходит насквозь до половины мозга. А за ухом так и вгрызается, так и вгрызается к той же точке по перпендикуляру. Знаю: когда они сойдутся в этой точке, произойдет инсульт.

22 ч.30 м.

Принял чабрец и пустырник, а бессонница не отпускает.

2 октября. 8 ч. 45 м.

Проснулся и сразу обнаружил, что мозг наверху отлепился и свободно болтается в черепе, вызывая изнурительную боль.

11 ч. 26 м. Слабительное не подействовало.

15 ч. 00 м. Слабительное не подействовало.

Непийводина дочка – подлая! Снова бросила мыло в воду, чтобы меня разорить! Знает, что у меня пенсия 18 рублей, что я в нищете прозя-

.....

"...же и грамотности настоящей у них не было. Что может Франция противопоставить передвижникам?! Где их "Бурлаки на Волге"? Где их "Боярыня Морозова"? Ага! То-то! Делакруа? Чепуха! Эта его "Свобода на баррикадах" без воздуха и без пыли! Как постановка театральная. Мужики в шляпах! А один без штанов! Почему вдруг без штанов?! А сама эта "Свобода"? Как белая сосиска в желтом платье! Лицо поганое, рука неправильно стоит! Вот вам и французы! Тряпками позакидают, чтоб не видно было, что не знают анатомии. А ихний Энгр хуже всех! Насажал полную баню голых баб – все безграмотные, без скелетов и без мышц. А еще академик! Или Ренуар... Намалюет дамочку кое-как, подсушит, а потом сухой кисточкой туману наведет, чтобы скрыть ошибки!

11 октября.

Проснулся и лежал, пока в школе не зазвенел звонок. От этого звонка всегда что-то дрогнет внутри. Нехорошо: потом сердцебиение. Надо засекают время и затыкать уши.

19 ч. 00 м.

На сгибах кишечника что-то цепляет и мешает прохождению пищи. Ощущается озноб и такой звук: тенн! тенн! А потом еще – совсем тоненько – о-ок!

Подлая, подлая, подлая дочь Непийводы!

12 октября.

Так что же все-таки: почка или радикулит?!"

Ну и что тут смешного? А все гогочут, просто падают с парт, и даже Коля с трудом удерживает улыбку. Он чувствует себя виноватым.

Смиримся же, наконец: да, Борис Борисыч – человек-аттракцион! Ну и что? Ведь, в конце концов, он сам когда-то к этому стремился. Пел, плясал, устраивал розыгрыши. Вот все и привыкли. Взять такое, например. В общежитии, в той самой комнате... Утром пораньше привязывают к лампочке нитку. Двое, присев на пол, раскачивают за ножки кровать спящего товарища, третий дергает за нитку. Человек просыпается и под воздействием памяти о недавнем землетрясении выбрасывается в коридор в одном белье.

Или вот еще – тоже сценарий и постановка Б.Б. Это уже в Никольской слободке, на

практике. Поздно вечером, к тому моменту, когда на дороге должны появиться деревенские девушки, идущие из клуба, труппа Б.Б. обматывается с головой простынями и заходит в озеро по грудь. По сигналу закрываются, а когда девушки появляются, начинают не спеша, в живописном беспорядке, в полной тишине подвигаться к берегу. Представляете? Ну вот. Их тогда чуть не отправили в город за такие шутки. Или еще... Да разве все перескажешь! И всегда заводила – Б.Б. И всегда смеется громче и дольше всех, как-то даже не вполне естественно... а потом долго хватает воздух открытым ртом, прижимает локоть к левому боку. Тоже, вроде бы, нарочно. Все и привыкли. Тогда же, в Никольской слободке, когда профессор Крестовский влез белыми брюками в краску, все решили, что это Б.Б. для смеху перепачкал траву. А он просто палитру уронил и не обратил на это внимания.

А его знаменитое "сальто" на заводской трубе? В Самарканде, во время эвакуации. Человек взбирается на двадцатиметровую высоту – сам, кстати, вызвался – написать по кругу: "Всё – для победы!" И вдруг задевает что-то ногой – и взлетает ввысь! переворачивается через голову! – а внизу – рваное железо! ржавая арматура, готовая принять его жалкую фигурку на копья! Но Б.Б., описав круг, аккуратно становится на обе ноги посреди метровой площадочки! И с тем же ведром в руке, а краска из ведра еще летит вниз на замерших от ужаса зрителей... И что же? Через пять минут уже все хохочут! Человека током рвануло! Его могло бы сейчас разбрызгать по всему двору, как эту краску, а ему хлопают, будто клоуну! Но сам он чем лучше? Разве он не пялил вперед грудь? не подмигивал так, будто собирается сейчас же повторить свой фокус? Но вот что никак нельзя объяснить: через неделю – письмо из Ташкента: "У нас прошел слух, будто погиб Боря Локтев. Невозможно в это поверить: он был такой... Мы только сейчас поняли, как его..."

Любили! А как выяснилось, что жив – тут же смеяться. Над всем, включая больное сердце. И сразу – карикатура: Б.Б. танцует на трубе в пачке, сетчатых чулках и парике Мэрион Диксон, а изо рта – облачко со словами: "Я из пушки в небо уйду! Диги-диги-ду-у!" Жалко, что тогда еще не было валенок. Валенки появились... Пойдите-пойдите... Где-то через год после расстрела Берии. Году в пятьдесят пятом... Валенки, Берия... Какая связь? Да непосредственная. Знаменитая "Клятва другу", дипломная работа Б.Б., за которую он получил Сталинскую премию, место преподавателя и собственную комнату (и тех самых завистников, о которых вечно толковал). Так вот эта картина представляла собой огромный пейзаж. Большую часть его занимало небо, вечернее, бесцветное... дальний горизонт... Одинокая могила – и над нею задумчивый Берия в развевающемся плаще. Нет чтоб выбрать какого-нибудь Ворошилова, Буденного! Лицо ему показалось поинтеллигентней! Лицо... Лицо – вещь обманчивая. Смотришь – вроде действительно интеллигентное, приятное, добродушное. Очки... А как скажут тебе, что это злодей, мерзавец, каких мало – сразу видишь: точно! Опасная рожа! Взгляд неискренний, улыбка подлая.

Гнойная правда сочилась в ночь из черного репродуктора: "...являлся агентом разведок... систематически совершал..." Б.Б. лежал, свернувшись под одеялом, и задыхался от страха, вздрагивал от каждого звука. Ждал. Опыт предыдущих лет учил, что были у него основания бояться ареста. Ну что ж, достаточный повод для того, чтобы получить обострение. И странностями обзавестись.

Друзья Б.Б. искренне беспокоились за него. Но когда стало окончательно ясно, что никто не собирается трогать Б.Б., все снова завеселились. Рассказывали со смехом о том, что он боится выходить на улицу, рисовать, работать... Короче, получалось, что заболел он по доброй воле, но перестарался. А главное – понапрасну. Всего-то и было, что картины Б.Б. повыбрасывали из музеев.

Ну так как же не повеселиться над героическим подвигом Б.Б., рисковавшего жизнью ради спасения неблагодарной дворничихи? Как не изобразить двух санитаров, ведущих упирающегося Б.Б. по лестнице домой? Как не увековечить его забинтованную голову! Ведь известно уже, что ранка безобидная. Известно, что дворник не убил Б.Б., когда вернулся из тюрьмы через два месяца. А что он боялся выйти из своей квартирки – так он и раньше не выходил.

В общем, ссылка на окраину ему не повредила. Волновались, что он там останется один, без помощи, а он не только старых учеников не растерял, но еще и новыми оброс. И не удивительно: дешевле трех рублей никто в городе не брал, а он – бесплатно. Да и выпендриваться, левачить начали многие педагоги, а у него школа строгая, академическая. Как-никак, ученик Армякова-Козловского и такое прочее.

В общем, устроился Б.Б. на новом месте совсем неплохо. И напрасно Коля продолжал переживать и возмущаться человеческой жестокостью.

Бедный Коля! Не знал он, что приближается срок его собственного предательства. Неожиданного и даже как бы случайного. Скорее всего, ничего бы такого не произошло, не появись на горизонте Вика.

Вику направил к Б.Б. Юра Коваленко, с которым она когда-то училась в студии Серебровского. Встретились на выставке. Юра пожаловался Вике на сермяжную скуку в институте. Она рассказала, что завалила экзамен по рисунку. Он посмотрел Викины работы, сделал кое-какие замечания и в конце концов сознался, что, занимаясь у Серебровского, бегал тайком к Борису Борисычу Локтеву. Что это, конечно, неэтично, но так делали многие ученики Серебровского, поскольку Серебровский совершенно не давал того, что нужно для поступления в институт.

Не окажись при этом разговоре мать Вики... Но она оказалась. И уже через день понурая Вика стояла на лестнице – как раз там, где в свое время покоилась нижняя часть тела Б.Б., а мать ее стояла на месте давно смытой кровавой лужи. И звонила... звонила... Здравый смысл требовал развернуться и уйти, но Викиной маме было досадно возвращаться из такой дали ни с чем. Кроме того, она знала от Юры, что Б.Б. очень болен и уже лет двадцать как не выходит на улицу. А значит, вариантов было – два: либо скорая увезла его в больницу, либо он находится в квартире, но по какой-то причине не в состоянии открыть дверь. И вполне возможно, что дверь придется ломать.

Этими мыслями она поделилась с дочерью и собиралась уже позвонить в соседнюю квартиру, но тут дверь Б.Б. дрогнула и резко распахнулась на всю длину цепочки. В открывшейся щели блеснули глаза – будто битое стекло упало в воду. Затем стали постепенно проявляться и все прочие подробности, нам уже знакомые. Ибо коричневый пиджак поверх сиреновой майки, а также валенки на босых ногах не были следствием торопливых действий человека, услышавшего женский крик о помощи. Они представляли собой повседневный деловой костюм Б.Б., продуманный до мелочей. Чего мы еще не видели – так это лица Б.Б. в его официально-отчужденном выражении. С удовольствием отметим: лицо было красиво. Особенно лоб с высокими светлыми висками, с романтично накатывающей русой волной без единой сединки. Губы Б.Б., редкой, совершенно по-юношески трогательной формы, были напряженно сжаты. От уголков рта поднимались кверху застенчивые складочки, ограничивая с двух сторон верхнюю губу, так что она не сходила, как обычно, на нет, и имела выражение вдохновенной готовности к улыбке. Да и голубые глаза стали хороши, как только немного успокоились.

– Вы к кому? – подозрительно начал Б.Б., хотя уже заметил и белое платье Вики, и

длинные, по всей спине, волосы, и рижскую клетчатую папку, распираемую рисунками.

Мать Вики подробно изложила ему, что адрес взяла у Юры Коваленко, что в прошлом году Вике поставили двойку по рисунку, хотя все уверяли, что она очень способная. Б.Б. слушал недоверчиво и не спешил сбросить цепочку. Потом вдруг решился и широко раскрыв перед ними дверь.

Из квартиры разило хлоркой, чесноком и еще чем-то затхло-кислым. Вике почему-то казалось, что это запах сиреневой майки. Чувствительная к запахам, она тут же начала задыхаться, побледнела и даже не пыталась вникнуть в невнятные стенания Б.Б. Захлопнув дверь и заперев ее на две задвижки, Б.Б. вдруг весь как-то раскис и тоненько затараторил:

– В ужасный момент! В ужасный момент моей жизни вы попали! Уничтожили меня завистники! Предали на растерзание низким людям! Лишили последнего смысла жизни! Придется мне распустить учеников. А как я буду без них существовать?!

Вика не улавливала смысла в его словах. Поняла только, что Б.Б. им почему-то отказывает, и испытала от этого большое облегчение. Упомянутые ученики – их оказалось довольно много, в основном девочки-пятиклассницы, смурные и напуганные, – повалили из ванной комнаты, а двое выбрались из стенного шкафа.

– Продолжайте работу, – строгим мужским голосом скомандовал Б.Б.

Стараясь не шуметь, они заняли свои табуретки и без вдохновения зашаркали карандашами, забулькали в воде кисточками.

– Вынужден, вынужден отказать. А ведь всё родные, родные люди, – снова заскулил Б.Б. бабьим голосом. – Вот это – дочка моего лучшего друга, – указал он на затравленную крепышку с бантиками. – А это – Коля! Я учу его уже больше шести лет! Он мне как сын, можно сказать! Душу вложил! А теперь вынужден бросить на произвол судьбы! Остаться, так сказать, без единственной своей последней опоры. Я так и знал, что эти низкие люди мне отомстят! Хотя его посадили не за меня, а за жену! У меня пенсия – восемнадцать рублей! Как я могу из такой пенсии платить налоги?! Оболгали меня! А я денег с людей не беру! И не буду брать. Борис Борисыч искусством не торгует!

И Б.Б. зарыдал, не скрывая лица. Тут сразу видно стало, что черты его несколько простоваты, что вовсе ему не за тридцать, а по меньшей мере – за пятьдесят. Длинные белые зубы, разделенные треугольными щелями пародонтоза, пугали. Будто обнажилась страшная тайна: что человек этот, минуя стадию старости с ее обычными атрибутами, на ходу превращается в скелет. И вздорную эту мысль подтверждал подозрительный грохот в валенках. Казалось, под черным фетром болтаются обнажившиеся кости.

Но всего страшнее был двойной голос Б.Б. Будто он говорит, а кто-то другой подвывает ему. Вике казалось, что подвывает Экорше – своим разинутым пыльным ртом. Да Удзано улыбался, как неискренне сочувствующий сосед, и на лбу его красовалось пятно, похожее на засохшее яйцо – след кухонной баталии. Слева от его плеча догнивали два яблока рядом с заплесневелым ломтем хлеба и глечиком, а пониже роились мошки вокруг куска вишневого пирога. Именно этот пирог писала акварелькой "дочь лучшего друга", и, судя по замученному виду картинки – уже давно. Сидела она ссутулясь, почти касаясь носом бумаги, – очевидно, боялась рассмеяться.

Душа Б.Б. буквально трепетала. Знала, что Б.Б. не выносит эту девчонку, и если та рассмеется – произойдет катастрофа, скандал. Что Б.Б., в его расстроенном состоянии, не удержит даже присутствие посторонних, и он покажется им в наименее выгодном свете – возможно, даже отлупит паршивку, и тогда эти двое подумают о нем Бог знает что.

Так уж вышло, что Душе Б.Б. Вика понравилась вопреки всякому здравому смыслу. Это длинное белое платье с бледным цветком на пол-юбки, эти длинные волосы... длинные негустые ресницы, светлые глаза, готовые в любую секунду налиться слезами... Нравилась.

Хоть и ясно было, что она с гонором, строптива, а рисовать не умеет. Как и все ученики Серебровского. Но преобладал надо всем... корыстный интерес. Почему-то Душа сразу уверовала в могущество Викиной матери. Как только услышала, что эта дама – юрист, так и повисла у нее на юбке в немой мольбе, перебивающей бессвязный лепет Б.Б. И дама вникла, выудила из путаного потока слов нужное и перехватила инициативу. Она тоже, хоть и по-своему, оказалась человеком, который живет как бы на сцене, как бы перед зрительным залом. Так где-нибудь в провинции... хороший ресторанный тенор... подходит к столику блистательного незнакомца и поет, обращаясь к нему, "Очи – например – черные", а тот, благосклонно дослушав первый куплет, поднимается – и подхватывает мощным оперным голосом...

Б.Б. даже сел, когда Викина мать взялась излагать своими словами суть дела.

– Значит, так! – начала она. – Низкая неблагодарная женщина заявила в финотдел, что вы якобы занимаетесь частной практикой и не платите подоходного налога. Вы получили повестку, но в указанное время в финотдел не явились...

– Какой налог! У меня пенсия восемнадцать рублей! Я инвалид третьей группы! – втиснулся со своим припевом Б.Б., особенно напирая на слово "третья", будто это некая высшая стадия. Но развернуться ему не удалось.

– Успокойтесь! Перестаньте прятаться! Отдайте эту повестку мне! Завтра я им устрою! Они еще придут к вам извиняться!

Затем она изложила дикторским голосом биографию Б.Б. Он и не представлял себе, что успел ей столько рассказать. Особенно же потрясли Б.Б. тонкие обобщения, с которыми она осветила его обстоятельства. У Б.Б. посветлели глаза, сомкнутые губы трепетно подергивались в восторженном изумлении. Он снова был похож на юношу. Действительно, он уже двадцать лет прикован к дому. Не может сам ни выбросить мусор, ни купить себе хлеба. А между тем – единственный! – бросился на помощь женщине, подавая своим ученикам пример гражданского мужества. Действительно, будучи учеником известного передвижника Армякова-Козловского, он является мостом, соединяющим классическое и современное искусство. Действительно, дети – его единственная связь с внешним миром, а забота о нем оказывает на них дополнительное воспитательное воздействие. И лишив Б.Б. этой связи, государство обязано будет взять на себя заботу о человеке, который чудом существует на восемнадцать рублей.

– Вот именно, вот именно! На восемнадцать рублей! – вдохновился Б.Б. – Другой на восемнадцать и три дня не проживет! А я даже откладывать мог бы! И ученикам своим, так сказать, этот опыт передаю! Во-первых, – тут же начал он делиться опытом с Викиной матерью, – барахла не надо покупать! Дорогую вещь купил один раз – так она тебе всю жизнь служит!

И он потащил ее к стенному шкафу.

Б.Б. по очереди вытащил оттуда тяжелое синее пальто, старомодный коричневый костюм, хорошо сшитый из дорогого бостона, шелковую рубашку.

– У меня там еще есть кое-что, – указал он на грандиозное сооружение, увенчанное гипсами и натюрмортами. – Но ни к чему оно всё! лишнее! Каждая вещь должна быть продумана – для чего она тебе!

Душа так вся и заметалась! Не хотелось ей, чтобы Б.Б. расходился при Вике, но остановить его было уже невозможно.

– Художник, – все сильнее распалялся Б.Б., – должен выбирать, что для него важнее! Искусство – или каждый день воротник стирать на рубахе, время тратить! Я к этой майке, – он даже расстегнулся для наглядности, – пришел путем поиска! В ней нет ни воротника, ни извините, подмышек! Опять же цвет! Темную майку, к примеру, вываривать не надо. С

вываркой оно как: вываришь три раза, и пошло всё дырками! Будь добр, новое покупай, бросай денежки на ветер! Поэтому Борис Борисыч купил себе майки фиолетовые, или, как мы, художники, выражаемся для красоты – сиреневые. Вы можете спросить: почему фиолетовые, а не голубые, к примеру? А я вам отвечу: фиолетовый цвет – не то, что голубой: он желтизны не боится, а когда полиняет, так даже еще лучше становится! Теперь пиджак. Вельвет, чтоб вы знали, самая лучшая ткань – ему сносу нет! При том у него вид – артистический! И к телу приятно, а главное – ворса отталкивает грязь! Или вот носков я, к примеру, не ношу: от них одна вонь! А валенки имеют лечебный эффект: грубая шерсть! Если брать большой размер, нога не потеет.

И он сочувственно поморщился на Викины узкие туфельки.

Душа прямо вся измаялась! Видела, видела, что не стоит об этом при Вике, что она вот-вот расхохочется! Или расплачется – вон и глаза уже полны слез! Сейчас вскочит и убежит, а мамаша не пойдет ни в какой финотдел.

И Коля тарасился на Б.Б. с мольбой и осуждением. Глазами на Вику показывал. Тоже... проникуся...

Нет, не была Вика красива. Но что-то в ней было... Странный наклон фигурки, эти нежеланные слезы в светлых глазах, эти влажные ресницы... Душа все видела и жалела Колю. А Б.Б. тоже видел, но не жалел и раздражался, глядя, как у Коли отчаянными рывками ходит туда-сюда острый кадык. Знал Б.Б., чего в ужасе ждет от него Коля, знал! И в глазах его уже поблескивала веселая жестокость. Но – удержался. Свернул. На каштаны. Погромыхал в валенке, загреб из кармана целую горсть.

– Знайте, вот это – спасение от всех болезней. Если б не это – Борис Борисыча давно уж не было бы в живых. Я, – он сделал паузу, будто боялся оглушить собеседника своим страшным сообщением, – ревматик!

– Да, – с весьма умеренным сожалением покивала Викина мать. – У Викочки тоже ревматизм.

– Что ж вы раньше не сказали! – вскричал Б.Б. так, будто только что узнал, что Вика – родная его сестра по отцу. – Беру, беру! Хоть и знаю, что работы негодные! Знаю, как они рисуют у Серебровского: никакой школы! Я всех его учеников доучиваю! В институт готовлю. Общее дело делаем: он любовь к искусству прививает, а я шлифую, можно сказать, брильянты.

Далее Б.Б. перечислил двадцать-тридцать имен, и при каждом имени Вика и мать ее чуть не вздрагивали и обменивались взглядами, полными испуга и удивления.

– Встречу Серебровского – расцелую, – продолжал воодушевленный их реакцией Б.Б. – Брошусь на шею! Большое, скажу, дело делаешь!

– Вы знаете, – деликатно замурлыкала Викина мать, – мы бы не хотели, чтобы Михаил Исаич узнал о том, что мы обратились к другому педагогу... Он человек самолюбивый, можно сказать – ревнивый... И к тому же сердечник, после инфаркта... Не хочется, чтобы по нашей вине...

– О чем речь! – великодушно повел плечами Б.Б. – Никому не скажу!

Он, наконец, сел, раскрыл Викину папку и произнес с торжеством пророка, убедившегося в правильности своего предсказания:

– Конечно! Так и есть! Способная девица, но совершенно запущенная! – И застонал капризно: – Если б вы хоть на пару месяцев раньше обратились!

Мать укоризненно кивнула Вике.

– Ну что теперь! – продолжал Б.Б. – Поздно! Сделаю, что могу, но... Ничего не гарантирую. Постараюсь все вложить в самый короткий срок...

Бедную Душу Б.Б. огорчала такая корыстная ложь. Она видела ясно, что подготовить

Вику в институт не удастся и за год. Ее рисунки не просто не соответствовали должному уровню – они как бы настаивали на своей безграмотности с какой-то наглой мощью. Самое странное, что Душу они чем-то привлекали, и она суетливо порхала над папкой, стараясь получше разглядеть с быстрым ветерком сменяющие друг друга листы. По большей части это были портреты, нарисованные жирными черными линиями с небрежной подтушевкой в самых неожиданных местах. Эта подтушевка создавала иллюзию объема вопреки всем правилам. Очевидно, Душу подкупала какая-то чрезмерная выразительность лиц.

Итак, лица были безусловно неправильны. Б.Б. неодобрительно морщился, а вместе с тем кроме отдельных незначительных мелочей ни к чему не мог придаться. Пока не наткнулся, наконец, на изображение гипсовой головы Вольтера.

– Ну вот! – чуть не захлебнулся он радостной слюной. – Какой же это гипс?! Это ж какая-то проволока гнутая! Где здесь объем? Где здесь фактура?!

Душа, растерянно помахивающая крылышками между рисунком и носом Б.Б., с недоумением сознавалась себе, что почему-то видит и объем, и фактуру, и даже пространство.

– Что это у тебя? набросок? Гравюра? – продолжал Б.Б. – Сейчас я покажу тебе, что такое настоящий гипс!

Он потянул из-за батареи доску, к которой был приколот Колин Сократ, и сюрпризным жестом выставил ее перед Викой.

Коля тут же попытался забрать свой рисунок. Душа Б.Б. его понимала. Как-то и ей самой Колин Сократ вдруг показался скучным и необычайно серым.

Но Б.Б. выдернул у Коли доску.

– Видишь? Всё тут на месте! Полная, так сказать, раскладка! Это тебе не то, что пальцем грифель развозить! Это выразительные средства! Тон! Полутон! Валёр! – Голос Б.Б. становился все нежнее. – Сфумато! И, наконец, – блик!

При слове "блик" глаза Б.Б. восторженно блеснули. И Викина мама взглянула на Вику так, будто много раз говорила ей о том же, да дочь не слушала.

– И знаешь, в чем корень зла? В том, что Серебровский позволил тебе рисовать мягким грифелем. У меня любому сосунку известно, что гипс рисуют тонким и твердым карандашом! Вот как-нибудь позвоню Серебровскому и скажу: "Что же это ты детей калечишь мягкими карандашами?!"

Тут Вика напряженно вытянулась и, наконец, произнесла свои первые слова:

– Михал... Исаич... ругал меня за то, что я рисую мягким грифелем... Это я сама!

Оказалось, что голос у нее слабый, какой-то напряженно-неуверенный, будто она старается удержать вертикально лист тонкой бумаги. У Коли екнуло сердце. Он испугался, что сейчас этот голос сломается и опадет, и неожиданно для себя пробубнил противным подростковым баском:

– Хорошие рисунки. Если написать, что это Ван Гог, все будут восхищаться.

– Ван Гог! – изумленно взвизгнул Б.Б. и развернулся к Коле вместе со стулом. – Нашел пример для подражания! Может, он "Бурлаков" написал, твой Ван Гог? Или "Запорожцев"? Или "Боярыню Морозову"? Да его не то что в институт не приняли бы – он в художественную школу экзамен не сдаст! Он же стул нарисовать не умел! Смотри, как у меня малые дети рисуют табуретку! – Он бросил Вике на колени целую стопку восьмушек с одинаковыми табуреточками, похожими на подтонированные чертежи. – Видала? А у него, у взрослого мужика, кривые стулья без всякой перспективы!

– А я, – закричала Вика, и слезы покатались-таки по ее лицу, – за один стул Ван Гога отдам ваших... всех ваших "Запорожцев" и "Суворова с Альпами"! К ним по два вьетнамца в день подходят, а к Ван Гогу не протиснешься!

– Ты чего? Ты чего? – испугался Б.Б. – Да я не против Ван Гога! Если хочешь знать, я сам когда-то баловался этим! – Он с вороватой ухмылкой подмигнул в сторону кровати. – Если бы ты увидела кое-что, ты бы со мной так не говорила! Но ориентироваться надо – на высшие достижения! На людей, получивших настоящую школу! А твой Ван Гог, небось, и про плоскость горизонта не слышал!

Тут Б.Б. пошел толковать про "точки схода", про фронтальную плоскость и про сагитальную, про линию профиля, про лицевые узлы... Душе было так досадно, что он все выдает в первый же день! Так она надеялась, что он хоть про вертушку дополнительных цветов забудет! Куда там, вспомнил и про это! Даже стишок дурацкий про белого медведя выдал сейчас же. Он и сплясал бы, будь в комнате свободное место, но всюду сидели девчонки со своими папками, табуретками, скрипели карандашами, вякали кисточками в банках с водой – унылые, позабытые Б.Б.

В тот день Вика ушла первая. Мать ее куда-то спешила, и Б.Б. не решился их задерживать. Неизвестно зачем засобирались и Коля, вызвался их проводить. Б.Б. стоял у окна и смотрел, как они идут по дорожке к троллейбусу. Вика с матерью шли под руку, Коля плелся справа от Вики. Ветер дул сбоку, и длинные волосы Вики относил на Колю. Б.Б. было интересно, о чем они говорят. Боялся, что Вика ругает его, и послал Душу следом за ними – проверить. Но волнения его были напрасны. Как раз в тот момент, когда Душа догнала их, Викина мать говорила с большим воодушевлением:

– Вот видишь! Сколько раз я тебе твердила, что ты даром тратишь время у Серебровского! Ты у него за четыре года не узнала столько, сколько этот дал тебе за один день! Кстати, ты все запомнила?

Душа вздохнула. Она знала, что расточительному Б.Б. сказать больше нечего. Что завтра снова будет валёр, и сфумато, и точки схода...

– Ну что ж... – сказала Вика раздумчиво. – Может, и насобачусь как-то на этом дурацком академизме. Одного не пойму, – сурово обратилась она к Коле, – вам-то зачем сюда ходить? Ведь у вас в художественной школе с реализмом вроде бы всё в порядке!

– Да... – промычал Коля смущенно. – Привык как-то. Хожу к нему с детства. Он ведь совершенно беспомощный. Я при нем вроде как нянька. Я хотел вас попросить... Вы там хорошенько объясните все, в этом финотделе... А то он так испугался, что запретит и мне приходиться.

– Да-да, – с одобрением откликнулась Викина мать. – Я все сделаю, можете абсолютно не беспокоиться! Я и по дому ему помогу! Свяжусь с другими мамашами, и мы проведем у него генеральную уборку.

– Ой, вот это не удастся, – смутился Коля. – Это уже многие хотели сделать. Не дает. Вы видели там натюрморт? Зеленая чашка и кусок пирога с вишней. Это моя мама передала ему еще весной. Я говорю: "Борис Борисыч! Давайте выбросим! Вокруг него мошки летают!" А он как разойдется! Стал обзывать меня вандалом, геростратом!

Душу слегка заделали такие Колины слова, но в целом домой она вернулась успокоенная. Начинались сумерки. Обычно в это время Б.Б. посылал ее к дверям института поджидать А.Г. Нет чтобы послать утром, по солнышку, когда А.Г. идет нарядная, подтянутая, бодро цокая каблучками. Душа различила бы это цоканье даже среди шарканья целой толпы. Нет – именно в сумерки посылал, когда она тащится, седая, одинокая, на отяжелевших неуверенных ногах, ступающих как-то отдельно друг от друга. Душе давно надоело изучать синие жилы на лодыжках А.Г., подсчитывать ее морщины. Она частенько халтурила, не долетала до места и, скоротав время в каком-нибудь скверике, докладывала Б.Б.: "Да-да! Посмотришь на нее – так тебе в матери годится!" Он особенно и не вникал. И Душу оскорбляло выражение скромного злорадства на его лице.

Так что она была очень довольна, когда Б.Б. послал ее в совершенно неожиданное место. Далековато, правда, но она уже привыкла мотаться туда-сюда и на удивление осмелела. Короче, до "Бурлаков" она добралась через какие-нибудь полчаса. И действительно, в зале оказался один вьетнамец. А может – кореец. Он что-то писал в записной книжке. Оттуда Б.Б. послал ее совсем уж в Лондон, к стулу Ван Гога, но законопослушная Душа его долетела только до границы – и вернулась назад. Впрочем, Б.Б. не сомневался, что Вика и тут права.

Он сел у окна, подпер голову кулаком... Задумался. С одной стороны, новая ситуация даже радовала Б.Б. Столько раз он готов был уничтожить, сжечь работы, увязанные в серой папочке и хранящиеся под кроватью! И не уничтожил только потому, что не было никакой возможности совершить это, не привлекая к себе внимания и не оставляя следов. Ведь даже изрезанные на мелкие кусочки, они могли быть извлечены из мусорника и сложены, где надо, в целое. И вот теперь получалось, что эти фитюльки, написанные полшутя, под чужим влиянием и, возможно, для того лишь, чтобы показать себе и другим: вот, дескать, и я так могу, причем запросто! – эти пустышки способны собрать вокруг себя толпу, способны перевернуть всю жизнь Б.Б., имеют право на будущее... Неужели они действительно стоят больше, чем картины, написанные кровью и потом? В которые вложено столько знаний! столько чувства! И все даром, впустую! Неужели человечество когда-нибудь дойдет до такого безумия, что ради мазни, которую без труда выдаст любой способный семиклассник, снимут "Бурлаков" и сожгут на заднем дворе музея, как его "Клятву другу" и "Пути в будущее"?!

Нет! Такого быть не может!

Б.Б. поднялся, вытер со лба холодный пот и заходил по комнате. В крайнем случае унесут в запасник. А потом, когда пройдет это время безумных заблуждений, достанут – и поймут!

Б.Б. вдруг озарило: может, и его детища целы и дожидаются где-то своего часа! Во всяком случае – "Пути". Ведь Каганович – не Берия, не так уж сильно он проштрафился. И Б.Б. тут же, не дожидаясь утра, отправил свою неотдохнувшую Душу в Харьков.

Была уже поздняя ночь, когда Душа оказалась в музее. На всякий случай она пролетелась по пустым залам, поискала в запаснике, а потом еще в длинном сыром подвале. Душа хорошо видела в темноте, и даже сквозь пыль, но она не выносила запаха мышиного помета. Картин было слишком много, приваленных одна к другой, так что протиснуться было очень трудно. А она устала. Да и картины все были какие-то...

Короче, снова Душа сжульничала. Подумалось вдруг: а что, если слетать в прошлое? И надо же! У нее это получилось со второго раза, причем даже крыльями работать не пришлось. Как-то так вытянулась, напряглась, вроде бы вывернулась наизнанку – и оказалась перед картиной. Краски живые, свежие, как бы даже... с росой. Картина выглядела несколько иначе, чем ей помнилось. Будто и Каганович, и его спутники ушли за эти годы чуть левее и глубже... и не так сильно бросались в глаза. Но все равно: ужасно хотелось, чтобы их не было вовсе! Эх, Борис Борисыч! Как она просила его: не надо этих фигур! Лучше без них! Красивое небо! красивый горизонт! Сохнувшие степные травы на переднем плане! Уж как Душа пела, когда он их писал! Говорила ему: "Зачем тебе эти усы да кепки?!" – "Нет, нельзя иначе! Требование эпохи!" А она вон как быстро ушла, "требовательная", и картины с собой утащила...

Не любила Душа ту эпоху. Точно так же, как красный дом с колоннами, о котором все сожалел Б.Б. и куда невесть зачем гонял ее чуть не каждый день. Не сочувствовала, когда Б.Б. начинал рассказывать о каких-то забавных случаях, проделках, замечательных событиях своей молодости.

Ей бы утаить от Б.Б. новооткрывшиеся способности, честно порыться в картинах... Ну и

поплатилась...

С этого дня стал ее гонять Б.Б. почему зря в "лучшие" свои времена. Не сразу, конечно. В первый день ему было не до того. Проснулся ни свет ни заря и начал переживать по поводу финотдела. Как там, не забудет ли Викина мать, не передумает ли идти, не перепутает ли часы приема... И что ему тогда делать – забаррикадировать дверь? распустить учеников? Или наоборот – оставить? Пусть подтвердят, что денег Борис Борисыч не берет. И как в таком случае поступить с Викой – не выгнать ли ее? Почему-то ему приятно было мысленно прогонять Вику. Мстительно воображал себе, как открывает дверь и холодно говорит через цепочку: "Вы уж извините, мадам тю-тю, но я передумал. Запущены вы! Вам не то что я – вам и Армяков-Козловский – да что там! – сам Чистяков вам уже не поможет, с такой техникой и с таким гонором в придачу!" Захлопнуть у нее перед носом дверь, а перед этим еще станцевать!

Вместе с тем он с нетерпением ждал Вику. Возможно, это был азарт борца, ставшего в стойку в ожидании противника. Так, например, ему очень хотелось, чтобы Вика явилась в своем белом платье с этим гигантским лиловым цветком. Тогда он мог бы ей сказать: "А эти кринолины, мадам, годятся не для работы над произведением искусства, а для лежания в постели до двенадцати часов! Будьте добры, больше не являйтесь на занятия в ночной рубаше!" Б.Б. с наслаждением предвкушал, как у нее повиснут на ресницах слезы, а губы потемнеют и как бы чуть-чуть размажутся... Еще он надеялся, что она принесет свой толстый грифель. И он даст ей начать рисунок, а потом поднимет на смех, а потом изорвет испорченный лист, а грифель изломает и выбросит в окно! Когда же она снова начнет про Ван Гога...

Но ничего такого не произошло. Правда, на Вике снова было белое платье – другое, с бледно-розовыми горошинами. Но при ней оказался фартучек, светленький, с белыми оборками, с вышитым сердечком на кармане. Б.Б. смотрел, как она завязывает сзади длинные ленты, и не знал, что сказать. Душе же всё это... как-то нравилось. К тому же мать Вики с порога сообщила, хоть и мельком, но никак не умаляя своих заслуг, что с финотделом вопрос закрыт, с чем последовала на кухню и стала там шумно разгружать сумку, не давая Б.Б. времени насладиться радостью избавления.

– Зачем! Зачем! – огорченно вскрикивал подоспевший Б.Б., вода расстроенным взглядом за пухлой рукой, выгружающей из сумки миску голубцов, банку сгущенки и пакетики концентрированного супа. – Зачем семью обижаете! Вы меня и так спасли! Можно сказать, к жизни вернули! Заберите обратно домой! В семье пригодится, а я же один! Несут и несут! Идемте! – И он распахнул перед Викиной матерью кладовку. Метровая гора суповых пакетиков дрогнула и двинулась на нее из глубины, опасно качнулась сине-белая башня сгущенки.

Викина мать удовлетворенно кивнула, цепким взглядом оценивая содержимое кладовки и на ходу корректируя принятое прежде решение. Но уносить домой ничего не согласилась. И вообще стало ясно, что Б.Б. с ней спорить не может. Отчасти из благодарности, отчасти – она подавляла его своей всесторонней мощью, что очень беспокоило Душу. Знала Душа, как это может сказаться на Вике. И предвидя, какими катастрофами чревато такое "воздержание" Б.Б., обмирала от страха.

Но... Но Вика... хоть и в вызывающе белом платье, сидела какая-то неестественно смиренная. Придаться к ней было невозможно. Как к женщине, которая вышла замуж за нелюбимого, но решила стать ему идеальной женой. Сидела, вытянувшись, так что даже за сутулую спину ее нельзя было ругнуть, и держала наготове твердый карандаш, заточенный,

как шило. Смотрела выжидающе, готовая принять новую порцию академической премудрости.

Б.Б. начал с того, что посоветовал ей выпивать натошак стакан кипяченой воды с чайной ложкой меда.

– Лучшее средство от прыщей, – провозгласил он, пристально всматриваясь в крошечный прыщик под воздушной, зачесанной набок Викиной челкой.

Душа боялась, что он начнет еще объяснять механизм воздействия, но имеющий богатый опыт Коля сочинил на ходу:

– У меня, Борис Борисыч, что-то грунт на холсте трескается!

– Ну вот, – шлепнул себя по коленям Б.Б. – Все ясно: завел, конечно, слишком густо клей! Раствор должен быть совсем реденький! чуть желтенький!

Пожалуй, это было единственное, что Вика узнала нового в тот день. Но, в конце концов, повторение – мать учения, так что Б.Б. не только не смущался – он получал не меньше, чем накануне, удовольствие, произнося звучные слова "валёр", "сфумато", и так же взблескивал глазами при слове "блик". Но Душа!.. Уж так ее воротило от этих бликов! от точек схода! от мудрого завета передвижника Армякова-Козловского: никогда не тереть резинкой вдоль линии, а только поперек! И все эти гипсы... Гнилые натюрморты... Даже дети!

Честно признаться – Душа и их не любила. Ну, сочувствовала, разумеется, Б.Б., который буквально из кожи лез, чтобы натаскать их до необходимой для поступления кондиции, но... Душа и имен их не запоминала, тем более что и Б.Б. за глаза пользовался не именами, а характеристиками. "Непийводина зловредная дочка", или – "Вот эта, близорукая, что не хочет пить сырые яйца", или – "Та дуреха, которая травилась мухомором, когда завалила экзамен по живописи", "Тот, мордастый, в очках, у которого отец поэт", "Рябая евреечка с задницей", "Деревенская, которая одевается не хуже городских" – и так далее.

Случалось, правда, и наоборот: прицепится к какому-нибудь имени – и треплет его на все лады: "Эльза-Ильза-Гильза!" Или полюбит какую-нибудь звучную фамилию – тут уж держись! Замучит! "Ар-р-тист Бржестинский! Что это за нос вы построили Сократу?!" А нос был как нос. Как на двадцати других рисунках. Признаться честно – Душа и не различала, где чей. И никогда она не могла понять, завершена ли работа. Ни разу не было такого, чтобы Б.Б. сказал: "Всё. Довольно. Эта картина готова". Куда там! Только что-нибудь вроде: "Ну-ну! Вот уже начинает получаться!" Или: "Хороший старт!" А на этом "старте" постылом акварель уже наслоилась грязной сине-коричневой ржавчиной! Ничего! В крайнем случае Б.Б. смочит лишнее жесткой кистью: "Работай, работай дальше!" – даром, что желтенькое яблочко сморщилось, стало коричневым, засохло, а по драпировке ползет черная плесень! Продолжай, продвигайся к никем не достигнутому совершенству! Да-да, никем не достигнутому, ибо чудо избавления свершалось всегда одинаково: протиралась в бумаге дырка. Не терпела бумага совершенства!

Что же касается Вики, то ватман ее прохудился даже слишком скоро – но, к сожалению, не насквозь. Поэтому Б.Б. не позволял ей начать новый рисунок.

Надо сказать, что Викин "Экорше" был, пожалуй, одним из худших, какие доводилось видеть Душе, – такой бездарностью, такой тоской от него веяло! Казалось, именно Вика – виновница его двухсотлетней скорби. Душа предпочла бы прежние провололочные Викины выверты.

Короче, дней через пять она потеряла интерес к Вике и стала летать в прошлое, уже по доброй воле. Остановится Б.Б. у Вики за спиной, начнет дышать укоризненно, ругаться за то, что сильно давит на бумагу, или привяжется к Непийводиной дочке: "Снова ты воду в мыльницу налила!" А Душа – шурх! – и уже далеко.

Было у нее в прошлом несколько любимых дней. Чаще всего она отправлялась в

Никольскую слободу. Развалится в траве... всё гвоздички, желтые лютики... Где-то совсем рядом шмель гудит... Снизу, с речки веет свежий ветерок... по небу тихо передвигаются облака... студенты рисуют... Хорошо рисуют, правильно. И такие все молоденькие, важные... Крестовский в белом костюме... вот-вот влезет штаниной в злополучную краску! И как знать – не за брюки ли за испорченные подбил он Б.Б. нарисовать Берию?! Впрочем, чепуха! Кто ж тогда мог подумать, что Берия – шпион...

Вернется нехотя домой: проверить – как там... А там что? Там Коля сидит, Вике в затылок смотрит... И глаза у него – будто решил броситься с моста... Вот-эта-близорукая в шестой раз покрывает лист желтой акварелью и гадает, зачем его покрывать и для чего она должна оставить нетронутым миллиметровый квадратик белой бумаги в центре листа...

– Как для чего, как для чего? Сейчас сюрприз будет! – Б.Б. щурится на квадратик, будто проверяет, испекся ли пирог. – Ну-ка, скажи, какого он цвета?

– Белого... – говорит девчонка.

– Как же белого?! – начинает обижаться Б.Б. – Ты лучше, лучше присмотри! Ну? Какого цвета?

– Бе-е...

– Какой цвет дополнительный к желтому, тупица ты! – темнеет лицом Б.Б.

– Фиолетовый...

– Ну вот! Теперь еще посмотри! Какого цвета?

– Фиолетового?

– Ну да! Наконец-то! – ликует Б.Б. – Фиолетового! Или как мы, художники, говорим для красоты, – сиреневого!

Непийводина дочка сидит, съезжившись. Столкнешься с ней взглядом – жмурится, как зверек, на которого замахнулись палкой...

Тошно, тошно Душе... Она опять в Никольскую слободу. На бережок. Там хорошо... Мотя сидит на сухом стволе поваленной вербы... Платье у Моти розовое. Слишком. Ядовитый цвет. Зато как она пахнет, Мотя, – кувшинками! И на шее кувшинка висит с порезанным стеблем – как ожерелье. Темные волосы на висках мокрые... А у Б.Б. футболка белая в голубую полоску...

– Выходи за меня замуж, Мотя! – говорит он.

Тут Душе становится неловко... Знает она, как всё будет. Точнее – именно не знает! Вот Б.Б. рисует Мотю в этом самом платье... вот посылает ей с почты открытку... Вот Б.Б. стоит в кабинете перед Крестовским и Яремичем, клянчит комнату, эту самую свою будущую комнату... Крестовский в белом костюме, Яремич – красавец, рубашка апаш... Вальжжные оба...

– Ну зачем вам жениться, Локтев? Карьера только начинается, все впереди!

А Б.Б. не сдаётся, на своем стоит.

Вот он поясok Моте присматривает в галантерейной лавке... Вот к туфелькам парусиновым приценивается.

А дальше просто непонятно – куда она делась? Будто и не было никогда... Душа потыкалась туда, потыкалась сюда – да и вернулась.

Снова Коля. Снова Вика. Б.Б. сидит на кухне. На столе. Голый. Позирует этому-у-которого-родители-поумирали, и он пару раз приходил выпивший. Ему обнаженную натуру сдавать. А где ж возьмешь деньги на обнаженную натуру? Вот и мерзнет Б.Б. на сквозняке, нервы себе расстраивает. Кухня-то маленькая, рисовать приходится из коридора. А дверь в комнату хоть и закрыта, но все равно страшно. Б.Б. осторожно спускает ногу, касается босыми пальцами пола, бежит на цыпочках посмотреть, не наврано ли в пропорциях, не начал ли этот артист накладывать тон на непостроенной фигуре – знает его Б.Б.! Сердце так и

колотится, так и бухает: вдруг сейчас зловредная дочка Непийводы высунется в дверь! Тогда Б.Б. придется ее убить. Да, так недолго и инфаркт получить! Но сейчас ему не до инфаркта. У него на животе появилась сыпь и разбегается с немыслимой скоростью, все выше и выше, все гуще и гуще.

– Видишь, что делается! – скулит Б.Б., уже водворившись назад, на свое место. Он старается не шевелить губами. – Я классический аллерг!

– Да какое там классический! – грубит Этот-что-без-родителей, что два-раза-выпивший. – Не надо было столько яиц глотать! Я бы от пятнадцати яиц уже дуба взрезал!

Б.Б. вздыхает, подсчитывает: "Вика принесла пять яиц. Та Рябая-с-задом – десять. Действительно – пятнадцать!" И что это его вдруг понесло? Так весело было их есть! Цокнешь о стенку, отковырнешь скорлупу, припушишь солью – и в рот! Вроде бы для того, чтоб показать Девчонке-этой-близорукой, что яйца вкусные. А на самом деле из-за Вики.

Душа чувствовала, что именно так оно и есть. Вот уж, кажется, совсем перестал обращать на нее внимание, махнул рукой – и снова... Всё-то ему хотелось ее как-то задеть... даже обидеть! Или позабавить... похвастать перед ней... Что делать! Мужчина...

Постоит над Викторией, посопит... и пошлет Душу туда, в дни своего триумфа. Нельзя сказать, что Душе это было неприятно. Аплодисменты, речи, новый костюм (первый в жизни), вручение диплома и медали лауреата, ответное слово... Крестовский... прогулка под руку из конца в конец выставочного зала... Конечно, Крестовский – профессор, но и Б.Б. не просто выпускник – лауреат Сталинской премии! Взад-вперед, под руку... красная дорожка пружинит под ногами... полотна маленькие... полотна средние... полотна на полстены... "Видишь, – самодовольно мурлычет в разлапистый нос Крестовский, – видишь, сколько тут Ленинов? А ты тоже хотел! Твоего бы среди этих всех и не заметили бы! Говорил тебе, что будешь благодарен старику за совет!" И у Б.Б. губы дрожат от благодарности... Сам Андронов руку пожимает: "Хорошее начало, молодой человек!"

А то еще погнал как-то Душу в приемную Кагановича. Лазарь Моисеевич согласился попозировать во время работы. "Вы, Лазарь Моисеич, забудьте о моем присутствии, я тут, в уголочке..." Легко сказать – забудьте... Он, бедный, уже и стоит, и смотрит, будто нарисованный, будто из рамы золоченой! И посетители его – тоже. А что, собственно, удивляться? Борис Борисыч тоже не хухры-мухры! Лауреат! "Может, вам чаю, Борис Борисыч?"

Но уж в этот день Душу пришлось загонять силой. Она и теплого рукопожатия не дождалась, сжульничала: перемахнула сразу в комнатенку Б.Б., где эти "Пути в будущее" уже целую стену занимали. Восхитилась привычно: красивое небо... какого цвета – и не скажешь... сумерки... темная трава под ногами... И чего тут не хватало без этих мужиков?! Ну что бы ему тогда послушаться ее! Ведь умоляла, убивалась: "Смой их! Смой! Пусть даже рельсы останутся, они не мешают! Девушку какую-нибудь дорисуй в крайнем случае. Но не этого усатого с приплюснутым носом! Ведь Крестовский тебе больше не указ!"

Душу такая досада взяла! Вцепилась она Б.Б. в свитер, перепачканный краской, затрясла его, завопила в самое ухо: "Ты что, еще одну Сталинскую премию хочешь?! Хватит с тебя премий! Одну уже промотал – не заметил, как! Вот и этот гонорар так же промотаешь! А картина повисит в музее года три – и в мусор! Прощтрафится твой Каганович!"

Простая была Душа. Думала: вдруг Б.Б. хоть теперь ее услышит... И надо сказать, что лицо Б.Б. выразило некоторое беспокойство... Даже взял вдруг и набросал на бумажке девушку в развевающемся платье... с летящими по ветру волосами... Душа аж задрожала от радости, решила: наконец-то получается! Вот теперь возьмется и за один раз всю жизнь его исправит! И ну давить: "За А.Г. перестань бегать! Не нужна она тебе с этими тремя языками! с очками, нажитыми от непрерывного чтения! И мать у нее дворянка, а никакая не горничная!"

Видно ведь! А отец – не иначе как белый генерал! Зачем тебе такие неприятности? На что тебе эти три иностранных языка, если сам ты ни одного не понимаешь? А главное – не оценит она героизма твоего, унизит тебя, опозорит! В загс не придет! Будешь стоять, стоять три часа на солнцепеке в новом костюме с целым кустом белой сирени в руках – всем на смех!"

Но тут уж Б.Б. не выразил никаких признаков внимания. Более того: набросок девушки, повертев рассеянно, смял и бросил в корзину. А сам принялся за руку Кагановича, устремленную вдаль. Ракурс был сложный – снизу. Такое под силу разве что Микеланджело. А Б.Б. ничего, справился. Душа покружила над корзиной: показалось ей, что девушка чем-то похожа на Вику. Впрочем, набросок был сильно скомкан. Вздохнула – и вернулась. И так ей дико показалось все вокруг! Валенки... пижамные штаны на тощих ножках... Там Каганович жал руку Б.Б. с сердечной правительственной симпатией – а тут... Викина мать тащит его, как мальчишку, за локоть...

– Нет! Я хочу, чтобы вы заглянули туда! Вы сразу поймете, откуда запах!

– Нельзя! Не смейте ничего трогать! Это же кра-со-та! Это неприкосновенное! Это, можно сказать, – алтарь искусства!

– А это что? А это? А это? – граненым дамским голосом звенела Викина мать. Она потянула за хвостик сгнившее яблоко, причем хвостик вытащился вместе с кочаном. – И это называется реализм? У девочки на рисунке оно желтое, а в натуре – уже все стало коричневое!

От такого аргумента Б.Б. дрогнул.

– Хорошо, – сдался он, – выбрасывайте. Мы его заменим. Найдем похожее.

– Да это что! – не оценила жертвы Викина мать и сунулась толстыми плечами в дебри "алтаря", по дороге зацепив угол зеленого сатина, так что стоявшие на нем бутылка и коробок спичек поехали и грохнулись на пол. – Вы сюда загляните! Там, сзади – другой натюрморт!

Б.Б. нехотя сунулся за фанерку и отшатнулся так резко, что качнулись Сократ и Экорше, двинулся с места гипсовый шар – с угрожающим звуком, похожим на дальний гром. Там, в полумраке, тоже была драпировочка и плетеная корзинка... Возле корзинки громоздилось небольшими кучками что-то темное и... живое.

Б.Б. обмер на несколько секунд, но тут же воскликнул с облегчением:

– А!.. Подумаешь! Грибы сгнили! Я и забыл, что ставил Светке грибы!

– Ну так что? Будете их хранить? Или позволите мне вычистить и вымыть хотя бы этот угол?

– Ладно, – вздохнул Б.Б. – Ты помоги, Колька... Неудобно... Там черви...

Коля тут же взялся отодвигать передний натюрморт. Девочки взвизгнули и зажали носы. Вика опрометью выскочила на балкон. Б.Б. направился было за нею, но по дороге отвлекся на трусливо согнутую спину дочки Непийводы, остановился и, звонко хряснув по ней растопыренной пятерней, заорал:

– Все будет отцу рассказано!

Коля был очень брезглив, но чувство долга в нем преобладало над всеми прочими чувствами. Стараясь не приглядываться, он столкнул гниль в коробку и тут же поспешил с нею на мусорник. Но запах в комнате не только не исчез – он еще и распространился по всей квартире. Такой густой, что даже имел как будто цвет... эдакий серо-коричнево-синий. Б.Б. пришлось отпустить учеников по домам, а Викина мать сама попросила хлорки и, обвязав пол-лица мокрым носовым платком, пошла нагло шуровать повсюду веником и тряпкой.

Колю, ввиду приближающихся экзаменов, отправили на балкон к Вике делать наброски. И он, поколебавшись, согласился. Конечно, он полагал, что обязан принимать участие в уборке, но... побыть наедине с Викторией!.. Главное – не дать ей уничтожить эти самые наброски!

Ибо, в отличие от Б.Б. и от Души его, слишком увлекшейся путешествиями в прошлое, Коля знал, что Вика не забросила свой жирный грифель и в отсутствие Б.Б. извлекает его достаточно часто.

Он знал даже, когда это обычно происходило. Сначала Вика, как бы впервые обнаружив перед собой замусоленный лист с изображением Экорше, все меньше похожим на оригинал, замирала. Опускала руки. Напряженно закидывала голову. Начинала постукивать ногой об пол. Вот тут и выныривал из папки крамольный грифель и случайные клочки бумаги. Почти не отрывая руки, Вика набрасывала Экорше. Затем по очереди все остальные гипсы Б.Б. Рисунки получались объемные, красивые, похожие. Разве что выражения их были несколько преувеличены. Сократ выглядел чуть тупее, да Удзано – чуть любопытнее. А Люций Вер совсем уж наглым.

Рисовала она очень быстро, а на законченные рисунки чинила карандаши. Возмутившемуся Коле Вика объяснила, что утонет в бумагах, если будет сохранять всю свою "пачкотню". После чего Коля стал отбирать у нее рисунки с мрачной пунктуальностью. Вика, удивленная, но и несколько польщенная этим, начала расширять тематику. Она изображала ряд профилей одинакового размера, находящихся друг на друга – как это делается на медалях или знаменах. Сократ, Люций, Никколо... – и передний справа всегда был профиль Бориса Борисыча. А то еще набросает одну из гипсовых голов – и пририсует к ней майку, валенки, пиджак, руки в карманах, набитых каштанами. И так точно она передавала позу Б.Б. – его непринужденную стройность, тайную настороженность! Но что поражало больше всего – она, не теряя сходства, и лицам их придавала выражение лица Б.Б.

Самого Б.Б. она могла изобразить, кажется, даже закрыв глаза. Она рисовала его коротеньким, с огромной головой, но это никак нельзя было назвать карикатурой. Представьте: здоровенный валенок, и из него, как чертик из табакерки, выскакивает Б.Б. в своем пиджачке поверх майки, а между пиджачком и валенком – вместо ног – пружинка. Но в том-то и дело, что это не было смешно! Романтичный полет волос... глаза, сверкающие испуганно-восторженным любопытством... вдохновенно-робкие губы... Это был обжигающе живой портрет, полный доброты и сострадания.

Так что Коля не чувствовал себя предателем, когда повесил этот портрет учителя над своим столом. Рядом он прицепил Викиных "Бурлаков". Естественно, что у бурлака на переднем плане – того, что смотрит прямо на зрителей – было лицо Б.Б. Молодому, с запрокинутой головой, она пририсовала профиль Коли, а вдали на барже громоздилась голова Люция Вера.

Была еще другая "копия", с "Утра стрелецкой казни". Б.Б. в грозной позе Петра восседал на коне, на переднем плане на земле валялись отбитые головы Люция Вера, Да Удзано, Экорше и Сократа, а на эшафоте стояли их обезглавленные подставки. Слева плакала сама Вика. Подобных копий она набросала множество, когда Б.Б. заставлял ее делать схемы композиций...

А в тот день, на балконе, Вика нарисовала коллективный портрет, вроде фотографий, какие привозят с курортов: Б.Б. в кругу своих гипсовых друзей сидит на лавочке, и на всех – вельветовые пиджаки и валенки. Вика не поленилась подкрасить выступающие треугольники маек сиреневым фломастером. И такую они все вызывали жалость – даже Люций Вер! – что Душа Б.Б., отвлекись она от учиненного Викиной мамой разгрома, не обиделась бы на Вику. Но Душе было не до Викиных рисунков. Б.Б. лежал на кровати, с левой рукой на сердце, с правой на лбу. К причудливой смеси ужасных запахов он прибавил запах пролитой валерьянки.

Викина мать мощно возила тряпкой туда-сюда – точно, как Феня, настырная домработница Петровых, и так же выглядывал у нее сзади кружевной подол рубашки. Б.Б.

сознавал, что должен бы испытывать к ней благодарность: интеллигентная женщина... моет... старается ничего не задеть... Ах, как ему хотелось, чтобы она задела! И не какую-нибудь мелочь, а пусть даже Люция Вера! и пусть бы он разлетелся вдребезги – и Б.Б. мог бы с полным правом заорать! замахать кулаками!

Б.Б. хищно следил за нею. Но ничего серьезного она не натворила, и Б.Б. пришлось придаться к мелочи. Освобождая угол комнаты, она переставила свою сумку со стула на подоконник. Б.Б. не сразу обратил на это внимание, но вдруг сообразил! вскочил! забился весь, закричал шепотом:

– Стойте! Что же вы! что же со мной делаете?! Соседи увидят – подумают, что у меня женщина!

– Да ведь все видели, что я к вам иду, – удивилась ничуть не смутившаяся Викина мать.

– Не понимаете! Ничего вы не понимаете, какие подлые люди окружают меня! Напишут анонимку, что у меня дом свиданий! И меня выселят, сошлют за черту города! Подождите, не смейте подходить к окну!

Он приволок из передней двухметровую рейку и принялся поддевать ею ручку сумки. Дело оказалось не такое простое, и Б.Б. долго манипулировал рейкой в позе азартного рыболова, пока поддетая сумка не съехала, наконец, ему прямо в руки. Достигнутый успех его несколько умиротворил, но он все же не забыл о кознях соседей и продолжил:

– Собак!.. нарочно под моими окнами выгуливают по ночам собак и гавкают, чтобы я не мог спать! А вот это? Посмотрите! – Он указал на сырое пятно на потолке прямо над раковиной. – Вот вам пример! Верхняя Софья Исаковна! Я так хорошо отношусь к евреям, а она дырочку просверлила и водой на меня капает!

– Да бог с вами, Борис Борисыч! Это трубы подтекают, надо слесаря вызвать.

– Вы не знаете! – простонал он женским голосом и помолчал, будто не решаясь открыть ей ужасную правду. – Это она мне мстит за то, что я на ее Наде не хочу жениться! У нее там какая-то Надя на фабрике работает! Из села!

– Ну а почему бы не жениться, Борис Борисыч, если женщина хорошая? Надо посмотреть, познакомиться...

– Какая там хорошая! Ей просто из села на работу далеко ездить! Пропишется – а потом отравит какой-нибудь едой вредной! Или скандалить начнет, доведет меня до инсульта. А мне и обратиться будет не к кому: вокруг одни враги!

– Вы извините, – сказала Викина мама, – но, по-моему, главный ваш враг – мнительность. Почему вы вообразили, что у этой женщины какие-то корыстные цели? Может, она устала от одиночества, хочет заботиться о ком-то! И потом – что вы всё про этот инсульт? С чего бы это у вас должен быть инсульт?

– Что же, – насторожился Б.Б., – по-вашему, мне пенсию даром платят?

– Да нет же! Но люди с третьей группой инвалидности живут абсолютно полноценной жизнью! Объясните мне: почему вы не можете выйти на улицу? Ведь вы же по комнате ходите! Вчера вот камаринскую танцевали. Вышли бы с Колей под руку, походили бы возле дома... У вас стало бы совсем другое самочувствие!

Б.Б. улыбнулся улыбкой Будды и покачал головой.

– Если бы вы знали всё...

– Как хотите, Борис Борисыч, но мне кажется, что не так уж страшно вы больны, а просто сами себя до смерти запугали!

Если бы Викина мать три дня придумывала, как задеть Душу Б.Б. всего большее, она бы не выдумала ничего лучше... Душа Б.Б. так и заметалась, так и затрепыхалась! Это недоверчивое, насмешливое отношение к Болезни Б.Б. терзало ее всю жизнь! И пусть уж Викина мать проявила такое непонимание – что с нее возьмешь, с чужого человека! – но тут

прослеживалась цепь, буквально какой-то заговор! Вот, кажется, только что все были свидетелями: у Б.Б. высокая температура... его ударило током... пырнули ножом в плечо – и все волнуются, стараются чем-то помочь... Но что же! Стоит Б.Б. чуть оправиться, стать на ноги – и к Болезни его начинают относиться как к комическому эпизоду, им же, Б.Б., и разыгранному для потехи. А то и... для корысти! Замечала, замечала Душа эти тени язвительных усмешечек на губах, это легкое недоверие во взглядах... И то сказать: как-то слишком к месту все это случилось!

Что чужие! Душа и сама начинала порой колебаться: действительно ли...

Она еле дождалась, пока уйдут, наконец, Вика с матерью и Коля, пока Б.Б. уляжется на кровати... правая рука – на лбу, левая – на сердце... и опрометью бросилась в тот день, когда Б.Б. с голыми ногами и в сатиновой тунике изображал Менелая на прохваченной сквозняком сцене актового зала. Мартовский ветер приоткрыл форточку, но никто и не заметил: рыженький Женька Любавский, изображавший Париса, подхватил на руки высокую, статную скульпторшу – Елену... На репетициях он ее уносил достаточно легко, но тут вдруг – повернулся, что ли, неудачно? – застрял посреди сцены с красным от напряжения лицом, и Менелай – Б.Б. – растерялся: получалось, что у него предостаточно времени, чтобы отнять у замершего похитителя жену. Ему бы изобразить оцепенение – а он топнул на Женьку, будто выгонял теленка из хлева, и тот, рванувшись, скульпторшу уронил...

Душа устала от громкого хохота и поспешила в комнату, в ту самую, в свою. Было темно... и здание гудело, будто его пытаются изнутри взорвать... и тайный голос выл между этажами: "А-а-а-а!" А потом смех двинулся вверх по лестнице. Зашаркали, застучали в коридоре. Вечеринка, охлажденный за окном лимонад. И все та же тога, сандалеты на босу ногу!.. Недолгий сон перед самым рассветом... смех со сна, как у перевозбужденного ребенка. И уже наутро легкая, но неприятная боль в горле. Б.Б. покашлял, проглотал... Душа удовлетворенно закивала, будто отыскала в книге нужное место. Он даже сказал – и все слышали, как он сказал: "Кажется, меня слегка продуло". И вот только после этого прибежал к ним в комнату Саша Орлов и бухнул с размаху, вопреки правилам приличий того времени: "Миколу Ткача арестовали! Вы как хотите, а я завтра пойду в органы и скажу, что он честный комсомолец! Каких еще поискать!" И все молчали, между прочим. Один только Б.Б. вызвался: "И я с тобой! Это какая-то ошибка!" А уже к вечеру у него было тридцать восемь и две. Назавтра – тридцать девять и шесть. Душа лично проверяла показания градусника – хотела быть объективной. У Б.Б. и голоса-то почти не было, когда он просил Орлова: "Подожди! Мне лучше станет – пойдем вместе!" А тот ни в какую: "Нельзя ждать, поздно будет". И снова же все это слышали! Все слышали, как участковая врачаха ужасалась: "Тридцать лет работаю – и не видела такой ангины! Тут же фарш какой-то, а не гланды!" И что же – как только выяснилось, что Орлова в ГПУ задержали, впустили в одну дверь, а выпустили в другую – догонять Миколу, все стали переглядываться, перемигиваться, будто Б.Б. предусмотрительно организовал себе эту ангину, чтобы не идти с Орловым... А для верности – еще и осложнение! Вон побегал с мячом три минуты – и брякнулся на скамейку, отдышаться не может, сгибается, скалит зубы, локоть к левому боку прижимает. А вокруг недоверчивые ухмылки: кончай, Борька, свой спектакль, центрального нападающего не хватает! И шел ведь, хотя Душа подсказывала: нельзя! смотри, до беды доведешь! Но он ее тогда не слушал. Больше, чем беды, боялся этих ухмылок...

И в военкомат ведь сам пошел – добровольцем! Душа и туда слетала, в пятый день войны. "Миокардит", – говорит врач и смотрит так, будто Б.Б. его ловко перехитрил. Может, после этого Б.Б. и стал слегка... не то чтобы наигрывать... но подчеркивать свою болезнь. И хотя осенью всех студентов художественных вузов вернули с фронта и в Самарканде начались занятия, привычка эта у Б.Б. так и осталась.

Ну и что с того? Кто с этим считался? А сам Б.Б. и подавно. Кто, к примеру, посылал его на ту злосчастную трубу? Сам вызвался! А за Петром Непийводой кто ухаживал, пока того в больницу не отвезли? Душа и не рада была, предостерегала: "Смотри! Заразишься тифом – сердце не выдержит!" А он и слушать не стал. Ну, Непийвода – друг, как было бросить друга в беде, ходить и знать, что он там лежит один, бредит... одеяло с себя сбрасывал... Но вот, спрашивается, с чего он полез разнимать тех узбеков, даже не имея понятия, из-за чего они дерутся! Получил ножом в плечо... Или вот еще, предупреждала: "Не тянись ты за москвичами! Ну их, с их "Красной мебелью", с их Ван Гогами и Гогенами! Ни к чему тебе их буржуазное влияние! Миколу за меньший проступок упекли! Но Микола-то – крепкий, здоровый! А ты что? Тебе там не выжить!" А он...

Или взять уже самый конец войны. В Загорске. Душа вспомнила про Загорск и даже изумилась, как это она ни разу туда не выбралась! Тоже, можно сказать, лучшие дни жизни! Купола... расписные терема... и снег, снег, снег... широко, высоко... до самых окон кельи... За стеной кричит младенец. Там тепло: Б.Б. сам сложил печку, сам натянул веревки для пеленок. У Таньки Ивановой мастит... Все боятся, как бы молоко не пропало... Б.Б. прикидывает, не видал ли где в городе козы. Идут за дровами. Б.Б. – а как же без него! – в чужих дырявых валенках... В лесу тепло... такая тишина! Дымок от костра натягивается неподвижной стрункой, незримо вырастает все выше, выше... Душа за ним, к небу... А внизу, у костра, разговоры – такие тихие, благостные... "Мы с Таней решили ребенка крестить. Кто хочет быть крестным?" Душа и вернуться к Б.Б. не успела, а он уже выпалил: "Я!" И по дороге домой все ныла, ныла: "Откажись! Разве ты в Бога веруешь? Ты же комсомолец! Узнают – из института выгонят! Говорили ж тебе: попы обязаны ведомости в НКВД посылать!" А все-таки пошел! И ведь что интересно: все ему с рук сходило! Вот и привык ее не слушать, пока не споткнулся на этом Берии.

Да... тут уж она отыгралась! Что же она ему говорила?.. Да то, что и всегда. Что лучше бы он мишек каких-нибудь сунул вроде шишкинских, чем галстук и манжеты на брюках выписывать. Грозилась, что завистники теперь всё ему припомнят: и крестины, и москвичей-космополитов. "Подожди-подожди, – зудела, – еще и до Кагановича твоего доберутся!" Б.Б. и так, бедный, весь дрожал, скорчился, как зародыш, в одеяло с головой заматался, а она добивала: "Спрячься! Притаись! Хорошо еще, что ты больной! Может, пожалеют, не тронут..." Она ведь чего хотела? Чтобы он меньше высывался, осторожнее сюжеты выбирал. А он... Вон как вышло! Пульс, хлорка, валенки... "Меланж" под кроватью... ночной поход в уборную на дрожащих ногах... Переборщила, в общем.

И так потрясло ее это открытие, выбило из колеи, так поразило чувство собственной вины, что не могла она думать ни о чем другом. Каждый день моталась в прошлое – то туда, то сюда! Пыталась что-то изменить. Возвращалась разбитая, крыльев не чувствовала от усталости. Так и ковыляла по квартире, с трудом переставляя ножки, безразличная ко всему, что происходит рядом. Суета какая-то, возня...

Начались экзамены в художественную школу, дочка Непийводы отказалась рисунок перекалывать... Вроде бы Б.Б. ее побил – Душа не помнила точно. Не взволновало ее и сообщение Вики о том, что она едет поступать в Москву. Кто-то посоветовал. А Б.Б. обрадовался. Отколос с доски Викин замученный рисунок и, сощурился на него с портновским снисхождением, предложил: "Скажешь: у тебя, мол, много таких, но ты их дома забыла!"

А на следующий день Коля вдруг объявил, что тоже едет в Москву. Тут уж Б.Б. удивился:

– А тебе зачем черт-те куда тащиться? Ты-то подготовлен как следует, тебя тут все

знают. Даже если чуть маху дашь на экзамене – тоже ничего. Ты за кем увязался? Эта Вика твоя – вторая А.Г., даже еще хуже! Ты только свяжись с ней – она тебе всю жизнь поломает! Чем в Москву за ней ехать, лучше бы свел прыщи со лба!

Душа Б.Б. высоко ценила понурую Колину доброту, а сам он с Колей всегда был грубоват, не боялся задеть его самолюбие, обидеть. Но на этот раз Б.Б. перегнул палку, и Коля обиделся. Может быть, таким образом он получал возможность покинуть больного учителя без угрызений совести.

Однако недели через две он позвонил в дверь Б.Б.

– Ты что же, – спросил Б.Б., впуская "блудного сына" в дом и пытаясь разгадать, что это в нем так изменилось, – экзамены завалил?

Комната была полна маленьких девочек, которые успели появиться за время отсутствия Коли. С любопытством аборигенов они уставились на нескладную фигуру вошедшего, его ежину шевелюру.

– Завалил, – как-то гордо ответил Коля.

– И эта... твоя Тю-тю-тю – конечно, тоже?

– Нет, – не без злорадства ухмыльнулся Коля. – Она сегодня сочинение сдает.

– Как это?! – взвизгнул Б.Б. и осел на счастливо подвернувшийся стул.

– Да так. Она им на первом экзамене поясной портрет как завернула этим своим толстым грифелем... Экзаменатор его сразу отложил. А мне еще на просмотре педагог сказал, что я не пройду. "У нас, – говорит, – не в моде уже эти площадочки".

– Не в моде?! – возмутился Б.Б. – Не в моде... А как иначе передать реальный объем?!

– Ну... – улыбнулся повзрослевший Коля. – Тициан и Леонардо как-то обходились без площадочек. Тоже ничего были художники, не хуже передвижников. А, кстати, я что-то и у передвижников не вижу никаких площадок...

Тут бы Б.Б. полагалось схватиться за сердце... упасть. Скорая помощь. Похороны. Раскаяние...

Похороны... Всё бы вам похороны! Наорал он на Колю, вот и все дела.

ЭПИЛОГ

И Коля уехал во Львов, где еще принимали документы. Он поступил на факультет графики. На втором курсе женился. И в родной город вернулся нескоро, отцом двоих детей. После сложных междугородных квартирных обменов. Измотанный не по годам, разрывающийся между мастерской и преподаванием в художественной школе, он не забыл своего чудака-учителя, но так и не выбрался к нему, а к известию о его смерти отнесся с грустью чисто философской. Не екнуло у него сердце и тогда, когда на афише выставочного зала он прочел имя Вики. Сперва он даже не вспомнил, кто такая Виктория Карева. А вспомнив – прошел мимо. Но вдруг остановился. Длинные, мягкие волосы коснулись его щеки. Внезапно. Будто рука слепого наткнулась – и испуганно опала... Коля замер, посмотрел на часы.

Работы Вики занимали две большие стены и еще узкий коридорчик. Они резко выделялись среди картин других художников, создавали в зале особенное напряженное пространство. Коля... Нет, он не был разочарован... Медовое спокойствие странных Викиных картин околдовало его. Но он ожидал чего-то другого – какого-то продолжения тех дерзких, нетерпеливо-корявых и пугающе живых набросков. Он пожалел о том, что Вика, по-видимому, совсем забросила свой былой гротескный стиль. Подумал, что было бы очень неплохо выставить в маленьком коридорчике ее графику. Впрочем, он предполагал, что Вика

давно уничтожила свои ранние рисунки.

Коля с удовольствием подумал о том, что где-то среди его бумаг должны валяться несколько Викиных работ: портреты Б.Б., наброски гипсовых голов, комические сценки... Глядя на размытые очертания двух женских фигур, особенно пленивших его странными оттенками красных и охристых тонов, он мысленно создавал новую картину. Безумное, ликующее лицо Б.Б. – такое, каким изображала его Вика, коротенькая фигурка, провалившаяся в валенки, но написанная в новой манере Вики и в этой же красно-охристой гамме, которую очень освежил бы маленький сиреневый треугольник майки. Коле померещилось даже, что он ощущает запах чеснока и хлорки.

– Каково?! – триумфально-радостно взвизгнул за спиной у Коли знакомый голос, беспечно вспарывая музейное благочиние зала. – Г-гениальная девица! Тоже у меня училась!

Коля обернулся. По скользкому, как стекло, паркету, быстро перебирая палочкой и подтягивая правую ногу, с поджатой к груди рукой, в коричневом костюме, в наглаженной белой рубашке с галстучком и в лакированных старообразных туфлях, с неседующей своей шевелюрой, спешил ему навстречу Б.Б. Локтев.

– Где ж ты был?! – приветствовал он Колю с радостной укоризной. Так приветствуют человека, с которым вчера договорились о встрече и разминулись минут на пятнадцать.

– Да... во Львове... – начал приходить в себя Коля. – Я бы зашел... но мне сказали... что...

– Умер! Ха! И Петьке Плющу так сказали! Вот люди! Вечно пустят сплетню! Это у меня инсульт был! Ногу, руку вот парализовало! Чепуха! Напрасно так боялся! Ничего страшного! – И он ободряюще похлопал Колю по плечу, будто Коля стоял следующим в очереди за инсультом. – Писать, правда, больше не могу. Покончено с живописью. Но и у меня кое-что припасено! Пора! пора достать и показать людям! Посмотришь, какой поднимется переполох! Узнают, кто есть Борис Борисыч! Ты домой?

– Нет. Я только что пришел.

– Ну, ладно, пойдем. Я с тобой еще раз посмотрю!

– А вам не трудно?

– Да ты что! – изумился Б.Б. – Нога у меня – ничего. Рука хуже, но тоже есть определенные удобства. Видишь? – Он повесил свою палку ручкой на согнутый локоть. – Хорошо еще на часы смотреть: всегда время перед глазами!

– А по хозяйству? – робко поинтересовался Коля.

– По хозяйству – Надя. – Он хлопнул себя по лбу. – Женился я! Жена у меня!

– Хорошая? – обрадовался Коля.

– Любовь! – выкрикнул Б.Б., и глаза его сверкнули так счастливо, что Коле вспомнился Викин рисунок – тот, на пружинке, из валенка.

Речь у Б.Б. была несколько затруднена. Возможно, поэтому он почти каждую картину кратко объявлял гениальной. А по залам он ковылял так быстро, что Коле много раз приходилось его догонять.

На улице Б.Б. показался Коле еще бодрее. Бросив на прощанье "Не бойсь! На меня не поедут!" – он ринулся через дорогу на желтый свет.

Действительно, машины нетерпеливо урчали, но ждали, пока Б.Б. перейдет, а затем рванули с места. Б.Б. оглянулся и победно помахал Коле палкой, как дрессировщик, исполнивший сложный трюк.

И когда через неделю кто-то сказал в учительской, что Б.Б. умер, – Коля только плечами повел и рассмеялся. Однако наутро в вестибюле школы висело наскоро написанное плакатным пером извещение о смерти Б.Б. с его адресом, датой и точным временем похорон.

Все-таки похороны... Задал Б.Б. напоследок зрелище всему дому! Никто и представить себе не мог, что проститься с ним явится столько народу – и какого народу! Постаревшим

соседкам Б.Б. не были, разумеется, известны славные имена, но гордые седые гривы! но казацкие усы и шкиперские бороды говорили сами за себя. А вышитые сорочки! а вдохновенные взгляды сквозь золотые очки! а царственные поступи и бюсты с лауреатскими значками и медалями!.. Более того! Выяснилось, что и Б.Б. – лауреат! Любовно начищенная медалька блестела на исколотой казенной подушечке. Оттесненные в сторонку, под буйную зелень, сожравшую просторный когда-то двор, соседки шепотом обсуждали неожиданную новость.

Б.Б. лежал в красненьком гробу, поставленном на две табуреточки – точно такой, каким появился в этом доме. И столько раз его здесь принимали за покойника, что и теперь смотрели с недоверием. Надо сказать, что вид у него действительно был какой-то... не вполне мертвый. Неулежавшийся. И что-то неугомонившееся таилось в уголках его губ. Казалось, сейчас он вскочит, весело подмигнет и призовет всех последовать его примеру.

У изголовья гроба беззвучно и непрерывно, как раненая береза, плакала испуганная Надя. Была она крупненькая и вся как-то грушкой наливалась к груди и плечам. Казалось, она старается занимать на земле как можно меньше места и чувствует себя виноватой, поскольку это у нее не получается. Треугольное ее личико, с покорными карими глазами и бледными веснушечками, вызывало у всех симпатию.

Душа Б.Б. стояла тут же, под табуреточкой. Она видела, что окружающие относятся к Наде, как к доброй няньке, которая честно исполнила свой долг и честно заслужила квартиру. Душе было очень обидно за Надю. И за Б.Б.

В последние годы Душа редко оставляла Б.Б., все больше пребывала на месте. Разве что слетает, посмотрит: что это Надя с работы не идет... Поэтому теперь ей было особенно бесприютно. Вокруг стояли давно уже ставшие чужими люди. Под ногами рассеянно топтались их души, посматривали на нее, как дети, которые видятся только по большим праздникам и дичатся друг друга. Одну она и вовсе не узнала. Понятия не имела, чья это. Чудная какая-то. То улетала, то возвращалась. Перышки четкие – будто только что сделаны! Личико аккуратное, строгое... И вся такая нервненькая, как трясогузка.

Потом уж, на поминках, стало ясно, чья она: только заговорят об А.Г. – так вся и встрепетается, забеспокоится...

Вообще-то разговоры были для Души Б.Б. неприятные. Сначала дочка Непийводы стала рассказывать, как Б.Б. лупил ее кулаками. Выпила водки на голодный желудок – и понесла.

– За что он меня так ненавидел?!

– Потому что своевольная была! – стукнул по столу Непийвода. – Не тебе клеветать на него! Он твоего отца от смерти спас в эвакуации!

– Он меня раз чуть не прибил! Вот в этот угол загнал! Вика Карева собой заслонила! А он сбоку! через плечи ее! Кулаками! А я, я... честное слово!.. я ни разу это мыло в воду не бросала!

– Да успокойтесь! – просил Коля. – У него всегда была такая девочка... которая его раздражала. Всегда черненькая, между прочим, и полненькая.

– Да конечно! – вмешалась самая видная из дам. – На него обижаться грех. Он был психически больной человек!

– Почему это?! Почему это он психический?! – обиделся Непийвода. – Просто он веселый был, Боря.

– Как же не больной! Человек двадцать лет не может ходить, а после инсульта начинает бегать по всему городу!

– Как это – бегать?! – зашумели за столом.

Оказалось, что большинство присутствующих не знает и об инсульте.

– Когда же это он инсульт перенес? – обратился к Наде интеллигентный горбун.

– Не знаю, – испуганно заморгала она. – Когда мы поженились, он был уже после инсульта.

– Теперь ясно, – обрадовался быстро хмелеющий скульптор. – А то иду как-то по улице, вижу: человек с палочкой, а бежит как таракан – вылитый Борис! А это он и был!

– А я его на Бессарабке встретил. "Борис, – говорю, – ты куда?" – "В ботанический! – отвечает. – Поехали со мной, там сирень цветет!" Я думал сначала – обознался, потом решил – галлюцинация!

– Я тоже! – усмехнулся Коля.

– А всё Анечка Гречанинова! На ее он совести! Видите – вот и на похороны не пришла, – сказал длинный с пудреной лысиной.

– Чепуха! – перебила дама. – Она бы пришла, но у нее давление высокое, а завтра ее аспирант защищает. Потому она и не вышла за Борю, что побоялась связать свою жизнь с психически больным человеком! Мне кажется, он таким стал после того случая с трубой.

– Скорее после истории с Берией, – задумчиво промычал с другого конца стола бородатый. – Помню, когда Берию расстреляли, захожу к нему, а он мне дверь открывает в одеяло замотанный... "Всё, – говорит, – мне конец". Там еще раньше было дело: он во время войны формализмом что-то немножко увлекся. Какие-то у него были работы с того времени. Мне покойный Витька Мороз рассказывал. Он к нему приходил, просил, чтобы Витька у себя несколько картин спрятал.

– Ну?

– Конечно, Витька побоялся. Такое время было... А Анечка тут ни при чем.

– Нет, – настаивал на своем лысый. – Она виновата хотя бы в том, что дело до загса довела. Выставила парня на посмешище!

– Точно! – подхватил Непийвода. – Мы там три часа на жаре стояли! Он, бедный, сначала боялся, что букет завянет... Помню эти глаза голубые, отчаянные, коричневый костюм... Как увидел его сегодня в этом же костюме... – И он заплакал.

– Странная вещь! – снова вступил горбун. – Вы заметили? Боря в течение жизни совершенно не менялся! Как будто он и родился таким. Кстати, кем были его родители?

Все стали переглядываться, пожимать плечами.

– Может, он детдомовский? – предположил кто-то.

– По-моему, – припомнил Непийвода, – он сестре писал, когда на Моте хотел жениться...

– Интересно, почему у них не сладилось? Вроде бы он комнату просил в общежитии...

– Нет. Все-таки Мотя была для него слишком простая.

– Ага! – возликовала дама. – Мотя для него простая! Задурил девчонке голову, а потом уехал – и тю-тю! А он для Анечки, выходит, не простой? Вы же знаете, я любила Борьку. Но иногда у него бывало лицо... трактирного или приказчика...

– Я не согласна с тобой, Таня! – внятно, как читают детский стишок, заговорила длинная стриженная старуха, похожая на кенгуру в золотых очках. – Он был очень интеллигентным человеком – внутренне, от природы. И такая образованная девушка, как Анечка, могла его развить, дотянуть до своего уровня. Ты вспомни! По-моему, он чудесно писал небо! Вот бы увидеть те работы, что он хотел у Вити Мороза спрятать! Я уверена, что это были замечательные работы! Он был очень талантливый. А какой славный! Я тогда ходила домой через спортплощадку и всегда останавливалась посмотреть, как он играет в волейбол. Мне всегда казалось, что он вот-вот взлетит следом за мячом! У него футболочка была голубая с белым, под цвет глаз. А глаза были действительно небесного цвета! И эта его деликатная губка... Такой весь чистый! светлый! радостный! Я смотрела на него и думала: вот он, воплощенный облик нашего времени!

– Вот это правильные слова, – оживился Непийвода. – И не будем их портить. Давайте

лучше споем. Какая была его любимая песня?

Никто не знал. И Непийвода запел свою любимую:

Сто-ить гора-а-а висо-о-кая-а,
По-и-ид горо-о-у га-ай, га-ай...

Привольная грудь его вздымалась под богатой кремовой вышиванкой.

Душа Б.Б. решила взглянуть, как отнеслась душа А.Г. к словам старухи, но под столом уже никого не было: разлетелись кто куда. Только правильная душа Непийводы скучала на его здоровенном ботинке, слушала. Потом и она улетела – слишком длинная была песня.

Як хо-о-ро-шэ-э, як вэ-э-сэ-ло-о
На би-и-лим сви-и-ти жи-ить!..
Чо-го-о ж у мэ-э-нэ сэр-дэ-энь-ко-о
і млие, и бо-лы-ыть?..

Душа еще не обвыкла в новом своем положении, не знала, куда ей деваться без Б.Б. Дверца стенного шкафа была приоткрыта, и оттуда виднелся вельветовый пиджак. Душа сгоряча ткнулась головой в карман – забыла, что Надя давно зашила дырку, – посидела на плече, подумала, зачем-то прошуршала, как моль, сквозь левый рукав и, разочарованная, поспешила вон из шкафа. Она решила, не откладывая, выяснить, может ли по-прежнему навещать в прошедшие времена. Старательно напряжись, вывернулась – и оказалась в точности там, где хотела. Рамка тихого света окаймляла прикрытую дверь кухни. Голубой умоляющий глаз Б.Б. прижался к щели. Оттуда опасно дуло. Надя, освещенная сбоку настольной лампой, сидела на своей раскладушке, в ночной рубашке, украшенной по вырезу вышивкой с дырочками. Лоб ее, как всегда на ночь, был повязан красным шерстяным платочком от мигрени...

– Надя! – жалобно позвал Б.Б., – можно я посижу с тобой рядом?

– Можно, – ответила сочувливая Надя. Она не считала себя вправе отказать и потянулась за халатом.

– Не надо, – робко попросил Б.Б., и Надя покорно оставила халат на стуле.

Б.Б. протиснулся между дверью и холодильником. Сел. Сквозь дырочки была видна смуглая Наина кожа. Белая рубашка, крепко накрахмаленная, под мышками сложилась в две маленькие буквы "у", а между ногами и туловищем – в одну большую "Т".

– У нас дома такие занавесочки были, – умиленно сообщил Б.Б. и добавил, помедлив: – Можно, я поглажу тебя?

Надя промолчала, но он придвинулся к ней совсем близко и здоровой рукой обнял за спину, а больную приложил к ее плечу. Со стороны было похоже, что он собирается сидя танцевать с нею лезгинку. Застенчивая лампочка оставляла все вокруг в мягком полумраке и подливала во все краски желтоватый оттенок.

Душа не знала, что с нею будет дальше, но решила, что при возможности здесь, в этом самом вечере, и будет проводить время. Но на этот раз не стала задерживаться и вернулась назад. Гости допивали чай. Отраженный свет заката заливал пустую комнату, широкий стол, аккуратно застеленную кровать Б.Б. с гипсовыми головами, составленными в рядок. Они были похожи на близких родственников, терпеливо ожидающих, когда для них освободятся места за столом. Один Люций Вер восседал на своей табуретке слева от Непийводы и смотрел в тарелки – нахально, будто подсчитывал, кто сколько съел...

– Я хочу посоветоваться, пока вы все тут, – обратилась к гостям Надя. – Как мне быть со

статуями? Я – человек простой, одинокий, я ответственности боюсь. Борис Борисыч даже пыль с них стирать не разрешал! Я решила отдать в музей. Просто так, безвозмездно.

Гости помолчали, растроганные, но все-таки не выдержали и рассмеялись.

– Это не музейные вещи, – виновато объяснил Коля. Да Удзано уставился на него выжидающе, Сократ тупо смотрел прямо перед собой, Экорше готовился завывать в голос. – Может, в какую-нибудь студию...

– Да нет! – перебил лысый. – Они же все дефектные! Это ж Рябоконь: как испортит по пьянке отливку, так и тащит ее Борису! Вы, Надя, узнайте, нет ли тут кружка при ЖЭКе. Для них сойдет. А то выставьте их возле мусорника – кому надо, сами заберут.

– Тогда пусть здесь остаются, – отрезала Надя. И была она похожа на добрую мачеху, которой предложили сдать в приют непутевых детей покойного мужа.

Провожая гостей к дверям, Надя была вежлива, но не могла скрыть некоторой холодности. И только Колю попросила задержаться.

Коля догадывался, зачем, и с тоской сознавал неотвратимость надвигающегося. Он стоял и покорно слушал, как Надя шарудит в кладовке. Давно уже у него не было прежнего любопытства к неведомым шедеврам учителя.

– Вот, – сказала Надя и положила перед Колей серую папку и стопку тетрадей, зеленых, с красными корешками. – Это наследие Бориса Борисыча. Пожалуйста, сдайте его на выставку или еще куда там надо...

Коля раскрыл папку. Ему улыбнулось хорошенькое личико узбекской девочки – причем достаточно свежо написанное. К сожалению, левую сторону лица портило фиолетовое плоское пятно, изображавшее, по-видимому, тень. Оно явно было намазано поверх обычной незамысловатой живописи. Следующим оказался старик с таким же пятном, но синего цвета, и невнятными разводами на заднем плане. Коля полистал еще для приличия и предложил:

– Оставьте себе что-нибудь на память.

– Нет, – светло улыбнулась Надя. – Он для людей старался. Для народа.

Коля направился к троллейбусной остановке. Она оказалась на старом месте, но больше не была конечной. Вместо пустыря, огороженного забором, отходили далеко на запад густо застроенные улицы.

Троллейбус подкатил почти пустой. Коля уселся у открытого окна, пристроил сбоку папку и зеленые тетради Бориса Борисовича. Он вспомнил вдруг, что сидел точно на этом месте, когда впервые возвращался из новой квартиры учителя. Вспомнил, как читал листки из его дневника, подобранные под лестницей.

Коля сдвинул бечевку и вытащил наугад одну из тетрадей. Раскрыл ее. И сразу наткнулся на свое имя.

"17 ч. 00 м.

Уже третий день, как терплю невыносимую муку. Что-то натянулось между поясничным позвонком и печенью. Чувствую, что если оно разорвется, произойдет внутреннее кровотечение. Пожаловался Кольке – а он и слушать не стал. Совсем испортился!

"Вызывайте, – говорит, – врача!"

Врача... Знаю я этих врачей! Начнешь им что-то объяснять, а они тебя поднимут на смех.

А все на нервной почве, от Софьи Исаковны. Опять приставала со своей Надей. Вот ей Надя! Фигу я на ее Наде женюсь!

19 ч. 00 м.

Приложил перцовый пластырь. Слабительное не действует.

Верхняя часть мозга сжимается и разжимается наподобие гармошки.
Дочка Непийводы нарочно оставила в уборной свет. Злорадствовала за спиной.

22 ч. 08 м.

Итальянцы, итальянцы! Что – итальянцы?! Дутые величины! Вещи у них, конечно, красивые. Но вопрос – почему? Потому что натуру красивую выбирали. Наряды богатые, кружево, драгоценности. Невелика хитрость красивую картину нарисовать! А ты попробуй свою "Мону Лизу" в пиджаке нарисуй, с перманентом! А я посмотрю! Ага? То-то! Вот и нет ваших итальянцев! Создали культ! Кто из них сдал бы вступительные экзамены в институт? Ботичелли? Или Перуджино со своими куколками? Может, только троих бы и взяли: Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Но, сказать по правде, НАСТОЯЩЕГО, АКАДЕМИЧЕСКОГО рисунка и у них не было! Если хорошо посмотреть, так и ошибок полно. Взять хоть "Мадонну Литту" – голова у ее младенца откуда растет? А нога у "Раба умирающего" почему в яме? Почему? Потому что пропорций не рассчитал ваш Микеланджело! Вот и пришлось в подставку вгрызаться! А взять его последние работы... Так лучше бы он их вообще не делал, не портил впечатление! Не говоря уж о Рембрандте! У Саскии шея свернута, плечей под платьем нет, глаза смотрят в разные точки! Да ему бы Армяков-Козловский больше тройки за эту картину не поставил! А Колька, дурак, повторяет чужие глупости! У самого лоб весь в прыщах, а он за этой фифой в Москву потащился! Святыни попирает! А она хуже любой А.Г.! Видно, мир перевернулся, раз таких стали в вузы принимать! Передвижники им не вершина! Да только с них и пошел настоящий реализм! Только с них и началась настоящая школа! Да, я не отрицаю: итальянцы, голландцы, фламандцы были гениями. Но по грамоте они уступают любому современному студенту-второкурснику!

Не надо мне было вообще сюда переезжать! Остался бы при Армякове-Козловском. Разве тут были педагоги такого масштаба?! Крестовский? Ха-ха! Да вся моя жизнь пропала к черту из-за Крестовского! Как я хотел? Хотел просто пейзаж написать, вид из собственного окна. Вот эту самую весну, когда зелень только появляется! И все видно насквозь, а сбоку подсвечено закатом! "Не успеешь! – говорит. – Таких всего три-четыре дня!" А я говорил ему: успею, успею я за три дня, захвачу! А он: "Может солнца не быть, может погода испортиться... Зачем такой риск?.. И вообще бесперспективно это! Не соответствует духу времени!"

Ну ладно, с Берией – он меня подвел. Но Кагановича – кто заставлял меня рисовать?! Столько труда, столько сил пропало даром! А может, есть оно где-то, не сожгли? Может, когда-нибудь пересмотрят, вернут на законное место? Поймут, что главное – это живопись, Мастерство, а не кто там нарисован. Веласкеса же не повыбрасывали из музеев за то, что он Оливареса рисовал! А тот, небось, был похуже Кагановича..."

1998 г.